

Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная межнациональная библиотека

ПЕСНЬ СЛОВУ

Сборник работ победителей и участников
Международного литературного конкурса малой прозы
«ЭтноПеро»



Екатеринбург,
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
П 28

ПЕСНЬ СЛОВУ: сборник работ победителей и участников Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» / М-во культуры Свердлов. обл., Свердлов. обл. межнац. б-ка; сост.: Е. Пономарева, Ф. Авпух. – Екатеринбург: СОМБ, 2018. - 168 с.

В сборнике представлены работы, вошедшие в шорт-лист Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» в 2018 г., в том числе три работы победителей. Рассказы печатаются в авторской редакции.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
© ГБУК СО «СОМБ», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	4
Мулиин Анна «Песнь СЛОВУ»	7
Томилов Андрей Андреевич «Синий цвет»	35
Вершинина Ольга Михайловна «Песня Севера»	57
Перлова Евгения Михайловна «Золотой Идусь»	69
Артёмова Ирина Александровна «Звучит Россия над землёй»	77
Бахтин Игорь Иванович «Третье счастье Ширали»	81
Спасина Наталья Випальевна «Енэшка рисует»	99
Демирова Незиля Демировна «Мемуары горянки»	107
Козлов Сергей Сергеевич «Дотянуться до русского неба»	123
Луконина Олеся Булатовна «Мать-казачка»	139
Михайлова Ирина Евгеньевна «Алискер – значит «Знающий»»	145



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В третий раз проходит литературный конкурс «ЭтноПеро». Каждый сборник работ участников конкурса имеет свои отличительные особенности. Визитной карточкой первого сборника стали мифы и предания народов России, второго – природа как явление сверхъестественное, включенное в реальность. Своеобразным центром пересечения всех произведений, вошедших в третий сборник, становится образ «человечка с душою младенца».

Именно так характеризует свою героиню Анна Мулин, автор произведения «Песнь СЛОВУ». Бабушка Махонька «старинны сказываць горазда», тем и живет на белом свете. Одетая в ремошья, ходит она от одного дома к другому, где подадут – слава Богу и прогоняет – слава Богу. И веришь, что Махонька ехидно грозила Ивану Грозному, а в Третьяковской галерее встретила своих старых друзей-богатырей. Для нее они «всегда были живыми».

Чистота, наивность и доверие людям, наверное, главные особенности героев «с душою младенца». Таков Санка (А. Томилов «Синий цвет») – слепой мальчик, который никогда не мог видеть родных мест. Но, уезжая навсегда, он из всех сил выворачивает шею, как будто «все это видит...». Героиня следующего рассказа («Песня севера», Вершинина О.) Инга, потомок саамов на одну восьмую, живет в городе. И все-таки «шаг за шагом преодолевая препятствия, приближается к своему истинному предназначению»: остаться жить в горах и перенять обряды своего народа, сохранить восьмушку древних предков.

Открытые миру, удивляют детской непосредственностью и герои других произведений. Читателя не оставит равнодушным маленькая Енэшка, разрисовавшая лед волшебными красками и подарившая всем северное сияние. Узбек Ширали, препетно влюбившийся в Надежду после потери двух любимых женщин. Дедушка, «золотой идусь», и внучка, «нылочка тэ менам», просто



счастливые от того, что «сидят на лавочке под кустом жёлтой акации, пьют душистый иван-чай из термоса и упекают бабушкины шаньги со сметанной намазкой». Тезки Ильяс и Илья Сергеевич, гастарбайтер и детский писатель, которые в рождественскую ночь любуются на улице падением двух звезд, забывая о своих проблемах.

Писатель помогает юноше добраться домой, отдав ему последние деньги; а Ильяс возвращается, чтобы вернуть долг. И в этот момент выясняется, что Илья Сергеевич, много лет прикованный к постели, не мог встретиться на улице в ту ночь с Ильясом – необъяснимое чудо в Рождество.

Но не всегда в гармонии, внешней и внутренней, живут герои произведений. Случаются трагедии и потери. Именно об этом рассказ о матери-казачке, приютившей во время войны детей разных национальностей. Матрена погибла, не выдав приемных сыновей фашистам. Пометка в конце произведения «основано на реальных событиях» рикошетом отдаёт в сердце.

Наивность и доверие людям могут стать препятствием на пути к внутренней гармонии. Такова судьба горянки, живущей вдали от родины с ненавистью в сердце к любимому человеку. Жанр мемуаров помогает превратить банальный сюжет «любовь – похищение – позор семьи – жизнь вдали от родины – убийство» в исповедь, которой веришь.

Герой еще одного произведения, Алискер, пытается в очередной раз поступить в школу. Он пишет под диктовку русские слова, а в памяти всплывают воспоминания о родном селе Шаглакуджи, где «у него было все: большой дом, своя комната, школа, футбол». Послушный и покорный внешне – внутри он протестует, так как искренне не хочет «уезжать в чужую страну». Чем ближе знакомишься с героем, тем страшнее звучит молчаливый крик души ребенка.

Таким образом, создается ощущение, что все произведения сборника перекликаются между собой. Перед читателями



разворачивается своеобразный живой полилог: один автор начинает и размышляет, другой органично подхватывает, третий - дополняет или спорит.

Этот разговор способствует взаимопониманию и взаимодействию представителей разных национальных культур. В результате создается поле межнационального культурного общения. Таким образом решается двуединая задача: формирование у читателя способности принимать иные культурные ценности и способности сохранять собственную национальную идентичность.

«Все мы очень разные, самобытные, уникальные, единственные в своём роде! Разные, но едины по сути своей...». «Так важно слушать и слышать друг друга!» Размышления в эссе Ирины Артемовой «Звучит Россия над землей» органично подводят итог о значимости решения данной задачи, где каждый голос должен быть услышан.



ПОБЕДИТЕЛЬ

Международного литературного конкурса малой прозы

«Этноперо»

1 МЕСТО

Анна Мулиин

«За Поэзию Поэзии и чувство просодии в поэзии»

ПЕСНЬ СЛОВУ

Игривая пропинка извивалась от деревни к деревне плавной ленточкой, от дома к дому крупными зигзагами, а приближаясь к берегу реки, распухала брюшком, превращаясь в приветливый песочный пляж. Ежели надобно было наловить рыбки, казалось бы, беда, коль хвоста нет – не выловишь. Ан, нет! Корзинкой почерпнул в реке воды – и полна тебе сеть – не вытащишь!

Зимой же, когда на лютном Севере в принципе дня не бывает, а спало быть, и пропинку не видать, то сия волшебная степка светилась будто бы сама собой. Может это Луна проказит?! Но посмотришь на небо, а там и звезды-то нет. Посмотришь тут же на пропинку, а та сияет так, что радость светлую в душе распалает. Может это и вовсе не тропа, а лучик, что Солнце летом потеряло?! Или же какого-то царства подземного неведомый свет пробивается наружу?

Летом же пропинка любила прятаться в лесу. Тогда даже грибы и те любопытства ради то и дело выскакивали из-под мягкого зелёного лесного ковра, аки яблочки наливные: будь то вездесущие сыроежки или же элегантные красноплешики, изящные жёлпики-осиновички или же скромные подберёзовики. Да что там!!! Даже ленивые полстяки-боровики и те: «бери – не хо-чу!!!» – так ведь сами в корзину запрыгивают. Успевай лишь сказку складывать!

К тому же каждый воробей на небе, каждый бурундук на земле,



каждая лесная мелочь: мошка, комар, муравей... — магнитом птянулись к той волшебной пропинке, плотным клубком обвивавшей северный таёжно-болотистый край Земли со сказочным названием Пинежье.

Край сей бескрайний, а людей немногочудно, посему все знали друг друга в лицо — и люди медведей, и медведи людей.

Вот только медведю путь к той пропе был недоступен, словно заколдован — не подходил он к ней даже близко. А всё потому, что ходила по ней тыщ-щ-щу раз, да что там!!!, сто тысяч раз махонькая, почти невесомая, Махонька — человек с душою младенца, ростком с подростка, с лицом сморщенной вещи старушки. Да и не ходила она вовсе, а летала — летала не горизонтально над Землю как птицы, а ...вертикально! И не вверх-вниз над — или вглубь Земли, а вглубь ...веков!

На своём пути Махонька непременно встречала и будто бы впрямь разговаривала с обитателями тех веков и лесов: то, завидев Соловья Будемеровича, восхитится им: «Этакой богатыришшо! Сохрани тебя Бог!», то царю Ивану Грозному ехидно заметит: «Экой герой! Боже тебя перебоже. Пошто народ своим судом судишь?». Иль путь же покличет белку добрым словом и хлецем накормит, иль на ворону-воровку ногой припопнет, а медведю так и вовсе пригрозит кулаком: «Ой, да как славная река Пинега печет в море-окиян безотпятно, так и ты, мишка, шёл бы отсель семь вёрст до небес, отныне и во веки веков. Аминь».

Словом, не пропа то была, а сказка заливная!

Чем плотнее становилась напощанная Махонькою пропинка, тем тоньше становились её лапти, из дыр которых порой торчком торчали кусочки сена — заплаты — это чтоб ноги дорогой не потерять. А что? Разве не так!? Ведь на этой пропинке она уже потеряла и молодость, и зубы, и зрение... А ноги терять ей никак нельзя — ведь они ж её кормят!

К тому же и одежда её, хоть и казалась издалека опрятной, да и спрадала чуть меньше лаптей, но за долгие годы поже хорошенько



поизносилась в ремошья. Да что там!!! Такой же дырявой казалась и вся её жизнь: то зимой поживёт у одних-других – с деписками понянчится – на хлеб подзаработает, то летом к одному-другому крылечку пристанет, былль иль небылицу сказочную заведёт – слух порадует, смотришь – сухарь подадут иль даже рубль, а то и ночевать пустят. Под одним окошком хлеба выпросит, под другим съест, голубыми глазками на пусты ладошки похлопает, и опять в путь-дорожку. Так и день пройдёт, другой настанет, а за ним и претий день пенью тёмною, аки дыроу бездонною, так и просится заштопать шупкой-прибаупкой...

– Ну-ко, Митревна, запевай – не унывай! – подбадривала сама себя порядком уже подуставшая на жизненном пути старушка. Песня-то – она хоть и грустная пусть, но усталость надёжно снимает.

Так и жила Махонька. Часто бывало, что в деревнях кто-нибудь, да и подаст ей Христа ради, а кто-то лишь проводит молчаливым взглядом – ведь и самим-то есть нечего.

Но бывало и так, что кто-то хлёстко прогонит «ВОН!!!» надоевшую попрошайку! А Махоньке всё «слава Богу», всё, знай себе, упешенье приговаривает:

– Эх, при худе-то жить порато¹ худо, а без худа жить ещё хуже!

Словом, совсем некогда было старушке тужить, горевать да печалиться.

На пути её долгом, длиною в жизнь, однажды нарисовалась, казалось бы, очередная деревушка. День тогда был или вечер, спозаранку ли, иль смерклось уж – да кто же поймёт этот Север загадочный!? Где солнышко летом по небу как по волнам катается, как от бапуа от горизонта отскакивает – днём и ночью светло, будто бы ночь и вовсе в природе не существует.

Увидала тогда Махонька жёнку во своём дворе – та по воду вышла, из колодезя воды набрать, а потому глаз её цепкий

¹ Порато – очень.



бóрко² прицелился прямо на неё: не прогонит ли, подаст ли чего сиротинушке?

– Чего тебе, бабушка? – спросила женщина, не выдержав пристального взгляда старушонки стародревнего обличья, и в довершение пошупила: – Дырку ишь во мне просверлишь.

Старушка пожевала сморщенными губами, за которыми зубов давно уж и след простыл:

– Ишь ли, бажóная, я кусочки собираю. Бува лишние есть, иль не жалко, может подашь чего Христа ради!?

– А на кой тебе кусочки-по?

– Сухи-по я сама ем, а мягоньки внукам отсылаю – их у меня прое. Мамка-по их – дочь моя, порато больна. А муж ейный совсем непупёвый – вот и сидят детки голодны, ...да и стены их дома холодны, – скудным, протяжно-сиропливым голосом выдала нищенка.

Волею судьбы пришлось Махоньке пуститься «кусочки собирать»: рано выдали сиротину замуж, да неудачно: сама она хоть и бедна была, а приданое себе всё же справила – полны ящички окованные самодельного да самопканого. А вот муж, напротив, что заработает, то пропьёт, что не заработает, то украдёт – свой был в арестантских ротах. Наобещал ей «сладкую жизнь в городах» да и увёз молодку прямо от венца, из малообитаемой северной глуши в далёкую Вологду, где хотя бы потеплее. Но сладость оказалась кислой, и он тут же исчез, бросив жену с новорожденной дочкой. Под зиму чаще пешком пришлось ей возвращаться домой – на Север, аж 700 вёрст, да ещё с младенцем на руках! А на пороге дома её ожидал очередной подарочек от мужа: двери избы нарасташку, сундуки пустые – взломаны, окна и те пропил – одни глазницы от них чернеют – не дом, а дыра. Вскоре она и вовсе овдовела – где-то в тайболе³ нашли её муженька мёртвым – бродяг обидел, те его и

² Озорко – с опаской.

³ Тайбола – финно-угорское. Задебрелая, необитаемая болотная дорога, проходимая только зимой, когда замёрзнет.



приговорили. Не стала Мария повторно замуж выходить – ну, не принято это в здешних краях, ибо не богоугодное это дело. Вот и пришлось ей смиренно принять свой крест и понести его таковым, каков достался от судьбы – все невзгоды сносила она, подбадривая себя: «Бог терпел и нам велел».

При виде пожилой нищенки с узелком за плечом и батогом, душа участливой женщины сжалась:

– Бува хопь не сухарь тебе податъ, а копеечку?

– Э-э-э, нет, милая, копеечку-то заробить нашь. Ведь я не нищенка кака – своя гордость есть.

– А чего ты можешь в эки-то годы? – неподдельно удивилась женщина, ибо эта, казалось бы, неговорчиво-разговорчивая старушка чем-то явно зацепила её, а потому в ней всхлынуло желание хопь чем-нибудь, да помочь просившей. Не веря своим ушам, она с ухмылкой переспросила:

– А-а-а!? Чего ты робить-то можешь?

– Да я старыны⁴ сказывать горазда, за то и копеечку беру.

– Старыны знаешь?! – ещё сильнее и вовсе не на шутку изумилась женщина. Тут же, теперь уже с окраской безграничной радости, она хитростно покосилась на окно своей светёлки – маленькой комнатёнки под крышей дома, где гостевала – вот те удача!!! – сама собирательница сказок и былин Ольга Эрастовна Озаровская⁵. Та приехала из Москвы в эту непролазную северную глушь в экспедицию за скапным жемчугом⁶.

– Да неужто и взаправду знаешь? – женщине лишний раз хотелось получить подтверждение услышанному – тому желанному и столь редко встречающемуся искомому добру, которое на дороге отнюдь не валяется, а тем более в гости само не заходит. Но!!! На ловца и зверь бежит!!!

⁴ Старыны – исконное название сказок, былин и небывальщин.

⁵ О.Озаровская – артистка народного разговорного жанра, собиратель фольклора.

⁶ Скапный жемчуг – так называла диалектные северные слова О.Озаровская.



— Да как же не знаешь-то? — засверкала маленькими глазёнками нищенка, почувяв, что попала прямо в цель. — Ишь, я тем и живу! На воз не покладёшь — во сколько знаю! Слушай хоть при дня и при ночи — всё равно конца не дождётся. А лягну чё, дак крещёные смехом изойдут.

— Так чего же ты, бабушка, в избу-то не идёшь! Пойдём-ка скорее чай пить.

Старушка и не думала проповивиться приглашению:

— Чай пить — не дрова рубить! По-о-ошли!

Прасковья Андреевна — так звали хозяйку дома, спремглав подлетела к нищенке, подхватила её и, не давая опомниться, прыпко попщила её в дом.

— Да как ты, девка, больно-то не гони! Тебя, видашь, мать бегом родила.

Женщина, захлопав глазами, так и застыла на месте, но тут же расплылась в глубокой улыбке и тепло обняла старушонку. Она уже предвкушала многоценный сюрприз для своей постоялицы-московки — жадной охотницы за непривычными слуху северными словами, присказками да приговорками:

— Миленькая бабушка, да чьих же ты будешь такая?! Как хоть звать-то тебя!

— Как звать?! — Разорвать! Отчество — лопнуть, а фамилия — ногой припопнуть!

Тут Прасковья Андреевна вконец развеселилась, ещё больше полюбив неожиданную гостью. Она усадила старушку на самое почётное в избе место — в середину лавки с длинной стороны стола у окна. Так делают, чтобы гость «не сбежал», чтоб труднее ему было выйти из-за стола, когда домашние кругом усядутся. Сама же она ринулась раздухаривать⁷ большой дупый самовар. Следом прямо из волшебной русской печи на стол полетел славный севернодеревенский чернослив — пареная репа, блюда грибные да рыбные, пироги ягодные да шаньги воздушные... Вскоре весь стол

⁷ Раздухаривать — разгонять.



был уставлен самопварной снедью, ведь у Андреевны, чай, полон дом гостей! А когда дело идёт к «поесть», то на запах все и сами мигом сбегутся.

– Ничего, девка, не налаживай, я ить сытá.

– Дак, где наелась!? – опять шибко подивилась хозяйка дома и загадочно переспросила: – Не ты ле давеча кусочек-то просила?!

– Так ту я. Ну и что с того? Ить я с пира шла, у князя Владимёра спольнекиевьского была,

Он пир средил, да народ созвал

За споль-те за дубовые

Да за яства сахарные

Да за напипочки споялые.

Пока Прасковья Андреевна очухивалась, размышляя и обдумывая, не сошла ли старушка с ума, бабушка время даром не теряла, а с радостью продолжала своё любимое дело – сказки сказывать:

Пир средил, пировати стал.

Ишше все на пиру напивалисе

Все на честном наедалисе.

Бабушка сказывала очень складно, каждое её слово так и льнуло к другому, будто бы она вовсе не говорила, а распевала, как песню.

К тому же она обрисовывала все подробности пира так ярко и вкусно, будто и взаправду только что сама там была и своими глазами всё видела, своими губами всё испробовала, своими ушами всё слышала, мол, обсуждали на пиру том казаки донские, что:

Приходит нынь времечко спрочнее

Что из далеча да из чистá поля

Из того роздолья широкого

Тут не грузна туча подымаласе

Тут не оболочко накапалосе

Подымался собака – злодей Кáлин царь.

Она с лёгкостью затянула древнейшую былинку, с тыщ-щ-щу лет давности, о том, как поднимался на Русь святую спрашний враг – злодей Калин-царь...



За им сорок царей, сорок царевичей,
За им сорок королей, королевичей,
За им силы мелкой числу-смету неп.

Голос бабушки был по радостным и весёлым в лад подгулявших на пиру гостей, по тихим и спокойным, как воздух во поле том чистом, по вмиг, в сопровождении рук, стущался, усиливая изливаемое слово, и становился грузным и накаписным, будто бы и впрямь на яву, пуп и сейчас подымался над Землёю злодей – страшный Калин-царь.

Для каждого персонажа былины, для каждого настроения изображаемой картины старушка легко меняла интонацию и находила свою мелодику. Мимика её так же не отставала и чутко менялась в цвет произносимого слова.

А слушатель, глядя на неё, мгновенно втягивался, да что там, будто бы всасывался в рисуемую ею картинку и волшебным образом обнаруживал себя прямо на царском пиру, где мед-пиво пил, по усам тепло и почно в рот попадало – уж голодным с того пира никто не уходил!

Не успела ещё Махонька завершить свой длинный сказ про «Илью Муровича и Калин-царя», как на её складно-певучий, хрустально-игривый голосок сбежались гостившие в доме артистка-фольклористка с сыном Васильком и с помощницей Шурой Соколовой вкупе.

Пока Махонька распевала эту длинную песнь, постояльцы дома приковано, отвесив челюсть рассматривали бабушку, не смея ни прервать её, ни даже шелохнуться, чтоб не спугнуть сей сон наяву. Впрочем, это никому даже и в голову не приходило – хотелось только, чтобы бабушка продолжала говорить и не останавливалась, ибо казалось, что она действительно, будто бы только что, на их глазах открыла дверь и вышла из мохнатой древности прямо в наш век – такое живое кино не снилось даже великому Чарли Чаплину.

Время от времени Махонька невольно замолкала, чтобы перехватить дыхание. Тогда слышно было, как пишину избы



беспардонно резали комары иль мухи, а в крышу дома стучали лапками сороки, котпорые тоже охотно слетелись, чтобы послушать мхом поросшие новости.

Слуху собравшихся представляли картины из древнейших времён ещё совсем молоденькой Руси, о котпорых нам наши бабушки даже не заикались, ибо ещё до них всё давным-давно было напрочь забыто русским народом.

Махонька же обладала уникальной для наших времен, но обычной для первородных людей, до Моисеевой фото и слухопамятью. В первые времена людям не нужны были ни буквы, ни цифры – всё умещалось в голове с первого раза и оставалось навсегда. Это уж потом, когда грех напрочь опутал Землю колючим тернием страстей, человек постепенно стал забываться: кто он? что делает здесь на Земле? и куда грядет? А потому он вынужден запикивать в книжку то, что в голове перестало держаться. Словом, песнь эта вовсе не о нынешней памяти, когда человек не помнит не то что своей родословной, но даже и день вчерашний. А завтра, увы, не вспомнит и как звать себя любимого, ибо всё к тому идёт, бежит, несётся...

Ольга Эрастовна, гостившая тут артистка-фольклористка, была известной в Москве и непревзойдённой на эстраде рассказчицей народного жанра, певицей сказок и былин – и всё это благодаря её тончайшему природному чутью воспринимать и воспроизводить любые интонации и оттенки диалектных особенностей. Мало того, она уже издала книгу по сценарному мастерству речи⁸.

НО!!! Встретить подобный самородок!!! Конечно, может быть, скорее всего, она и мечтала об этом, но, честное слово, никак не ожидала: «Ехала я на Север за скатным жемчугом, а наткнулась на сущий алмаз – бриллиантище во сто тысяч карат!» – подумала она и, по сравнению с представшей пред ней нищенкой, ощутила себя никчёмной песчинкой в мире искусства, первоклашкой в школе

⁸ О.Э.Озаровская «Школа чтеца. Хрестоматия для драматических, педагогических и ораторских курсов». М.1914



актёрского мастерства, легковесом пропив тяжеловеса в спорте эспрадной атлетики.

– Да откуда ж вы, бабушка, древности такие знаете? – неподдельно изумилась Ольга Эрастовна и так пристально стала всмаприваться в глаза гостьи, словно пытаясь через них залезть вовнупръ её и отптуда рассмотреть всё поподробнее.

– Эко ты воззрилась, девка. На мне ить узоров непу!

Махонька, почуяв, что своими стáринами доставила удовольствие окружающим, окончательно растаяла, растворилась в обстановке и мгновенно облюбилась⁹ на новом месте. Скáзывать стáрины она любила больше всего на свете, а потому любила и тех, кому они приходились по душе. На такой великой радости, что нашлись охотники её послушать, бабушка с удовольствием разговорилась.

– Слово-то, оно ить по крови бежит – неправильно скажешь, дак оно неправильно и сушществует. Коли сухое слово, без корня, дак и слушать его несносно – порато уж оно колюче. Ко мне вот слово от деда прикапилось – гладенькое, тёплое и ласковое, аки колобок. А было у деда три сына, – знакомым всем с детства зачином начала сказку своей судьбы Махонька, – МИколка, МИкипка да МИпрюшко – все-е на букву «МИ»! – серьёзно так произнесла бабушка, истово веря каждому своему слову – а иначе ведь сказка не родится, жить не будет! И совсем невдомёк было неграмотной старушке, что буквы «МИ» в природе не существует, да и что все эти имена начинаются вовсе не на букву «МИ».

– Младший был отец мой – Миптрий Микифорыч. Стало быть, я – Марья Мипревна¹⁰. Дак он рыбным промыслом занимался. Но однажды вышло наоборот – рыба споймала его. Вот и сгинул он в пучину морскую. А мать моя, Агафья Тимофеевна, с тоски по нему засохла и вскоре вслед за ним померла. Вот и пришлось деду моему – Микифору Микипичу рóстить меня, сиропинушку. Когда он

⁹ Облюбиться – акклиматизироваться

¹⁰ Мария Дмитриевна Кривополенова – русская сказительница



помоложе был, поже ходил в Белое море за морским зверьём. Там, в Архангельско, бывало на ярманьгу, окромя поморов, сберётся народу со всех концов Земли и давай сказывать друг другу, чем Земля славится. А чем она может славиться?! Слухами, ить. От слуха ничё не утаится. Чего-то еще глазом за заметишь, чего-то языком зацепишь, в сказку сложишь да по всей Земле доложишь. Где был, где небыль – поди, разберись. Дедо мой, знай, слушает те сказы да в голову себе складывает. Много насбирал, дак со временем стал еще и «вралем» подрабатывать – ну, это когда рыбаки в море выходят, а им хопь зной, хопь шквал, но пусь-ко хопь кто-нись развлекает их, вроде как сказы длинные ведёт – хопь про князя Долгорукого, хопь про Вавилу-скомороха, хопь про Идолице поганое... Да мало ле про что, лишь бы не молчал. Сказывает, да сказывает до глубокой ночи, а потом вдруг спросит: «спите ли, друзи мои!?!». И если никто не отзовётся, знашь, и ему приспело время отдыхать. За это ему двойную порцию платили – как за промысел, так и за небылицы. Раньше все так жили да поживали – душе угаснуть не давали. А как дед старый стал, так и я осиротела – сызмальства у дедовых ног сидела. Мы ить худо жили. Вот и кормил он меня чем приведётся – стало быть, не молоком, а старинами. Вот я ростиком-то и не вышла, зато в дедовы старины крепко внялась, да и до вас донесла. Хорошо ле, плохо ле, вот и сказке конец, а кто слушал – молодец! – довольнёхонька своим сказом бабушка раскланялась во все стороны, насколько позволил ей стол и, словно извиняясь, добавила: – Да что я!? Ить я всего лишь оскрёбыш, веточка! А вот дедо мой – топ мощ-щ-щ, дерево! Он былиной бури в море укрощал; лютой зимой лето в избу приводил: кругом студено, а в избе сады цветут, ппички поют, сеном пахнёт... Его «слово» «твердо» было, – и старушка, сжав ладонь в кулак, потрясла им. – Его пвёрдого слова все медведи слушались!

И тут же, обмягчив в бессилии свой малюсенький кулачок, запрусила от смеха, аки в лихорадке:

– А над моим словом даже мышки смеются: «хи-хи-хи-хи-хи...», – она запищала высочайшим, понким голоском и подёргала носом,



словно чего-то вынюхивая, имитируя мышку.

В избе словно бомба смеха разорвалась, началось повальное оживление, движуха...

Первой вскочила Ольга Эрастовна. Она схватила полстную пепрадь и ручку и, придвинувшись поближе к гостье, стала чего-то спрашивать-переспрашивать и скорее писать-записывать...

– А ты чего записываешь-то?! Ужель не запомнила? Песня ить не молитва – хватай да пой!

И Озаровская хватала... Она жадно и целеустремлённо хватала каждое её слово, каждый взгляд, движение, ход мысли:

– А вы, бабушка, грамотная?

– А то как же! Академию проходила...

– Ака-де-е-еми-ю?! – брови Озаровской подскочили до потолка вместе с очками, любопытство зашкаливало, пульс участился, сердце из груди рвалось, чтобы объять иль скорее даже «съесть» сладкую спарушку.

– А какую академию?

– Дак обычно: скотско-приходско-зуботычно-потасовочну. Два класса да семь коридоров.

Каждым своим словом, каждым неслыханным выражением Махонька прямо-таки сражала фольклористку наповал. Не до чая было и помощнице её Шуре. Та припатила фонограф Эдисона и стала развешивать по углам рупоры, готовясь к звукозаписи былин и одновременно проводя инструкцию бабушке, как нужно вести себя при записи звука.

Но бабушка и пуп была на высоте:

– Да что-о-о ты, девка! Разве мы списывателей не видáli?! Эк! Удивить старуху захотела! Бывал-бывал пуп у нас, заезжал однажды московец – видный такой, казистый¹¹ барин¹², с экой же чёрной бородкой да в золоченом пенсне на цепочке – Махонька изобразила рукой форму бородки и поправила будто бы очки,

¹¹ Казистый – презентабельный.

¹² Григорьев Александр Дмитриевич – русский фольклорист



чем как бы мгновенно открыла дверь и вошла в описываемый персонаж. Одновременно она понизила тембр голоса и принялась ощеульничать¹³:

- Здравствуйте, матушка!
- Здорово, крещёный!

Махонька попеременно меняла тембр и голос то на женский, то на мужской, изображая живой диалог с заезжим москвцом. Причём, свою деревенскую говорю она умудрялась не смешивать с московской речью:

- Нешто городской будёшь?
- Так и есть, матушка, с Москвы к вам попадаю.
- А пошто ко мне-то?, я ить небогата.
- Слышал, что вы певица искусная, сказок полон короб знаете.
- Ишь-ты, нашёл повар!!! А мне и угостить-то тебя нечем...
- Да, вы меня, матушка, былиной угостите иль сказкой, за тем и приехал. Ведь сказка – лесной жипель. Она в городе не живёт – задыхается, понимаете!?

А для того, чтобы российская словесность не понесла от этого тяжелейший урон, надобно подпирать её стариной, всё фиксировать для грядущих поколений. По сему, не соизволите ли вы, матушка, наговорить мне в фонограф несколько былин иль духовных стихов, а я запишу ваш голос в эту штуку и в Москву отвезу.

Закончив очередную быль, Махонька поочерёдно отглядела присутствующих:

- Дале что ль сказывать, аль бува и слушать надоело?!
- Да вы, Марья Дмитриевна, попейте хоть чаёчку, а потом ещё нам чего-нибудь споете! – ласково и с доселе неиспываемой Махонькою любовью сказала Ольга Эрастовна, которой только и нужно было, чтобы отпаянуть немного времени для подготовки аппаратуры.

– О-о-о! Это завсегда можно. Ить у нас на Пинежье разнообразна

¹³ Ощеульничать – повторять чужую речь, изменяя голос



пищца: упром – чай, днём – чаёк, вечером – чаище. А коли чаю не попьём, дак бува и голосок не побежит.

– Марья Дмитриевна, расскажите, откуда же вы взялись? Откуда пришли к нам? Ведь мы уже почти месяц ходим-бродим по близ окрестным деревням, спрашиваем-опрашиваем всех жителей, ищем-уговариваем, кто бы нам былин да сказок понарасказывал. А тут такое счастье, да ещё и само привалило! Ни глазам своим, ни ушам не верится!

– Что ж, дело-то нехитрое. Это всё дочь моя Афанасья. Она шибко уж чурается меня, стыдится, что я попрошайничаю, вот и отправила меня куда подальше: «Поди, говорит, мама в город Пинег. Там хорошо подают. Набрала бы там, да ещё и нам бы помогла». А что мне делать, коль из дому гонят? Вот и пошла я в город Пинег – не всё ли мне парно куда итти: на югá аль северá, тропой аль напрямки. Глянь, а тут и взаправду хорошо подают, – она бросила взгляд на свой узелок, который по привычке оставила на лавке возле русской печи при входе. Вот так и на вас как-то случайно набрела... Даже сама не знаю, не ведаю, где я сейчас нахожусь, в чьих царствах-государствах...

– О-о-о! У нас вели-и-кая деревня! Даже так и называется – Великий Двор, потому что каждый дом в деревне – великан. А, впрочем, все дома у нас как один – великаны, – не упустила момента похвалиться своей деревней хозяйка дома.

А в это время по всей округе каким-то чудом моментально разнесся слух о диковинной старушке, видать, сороки постарались! А потому соседи и даже жители с другого конца деревни постепенно стали наполнять избу, которая вскоре уж была битком набита. Всем непременно хотелось посмотреть на то диво дивное во плоти, на то кино живое, чистое, родниковое...

Ох, как порадовала Махонька в тот день и слух, и глаз, и душеньку всех собравшихся, не желавших расходиться даже на ночь. Но надо бы!!! Пора бы и меру знать – завтра день будет!!!

Собирательница сказок была настолько ошеломлена бабушкой,



что очень долго не могла уснуть, да что там, всю ночь обдумывала, скорее даже, мечтала, как бы самородок сей с собою в Москву забрать да представить его всему русскому люду на обозрение. И наутро, математик по профессии и артистка по призванию не стала просчитывать хитро-мудрёные ходы иль ищищряться и подыгрывать себе, чтобы заманить, заинтриговать Махоньку Москвой, а прямолинейно заявила:

– Бабушка, а поехали со мной в Москву? На корову заработаешь!

– По-о-о-е-ехали! – ко всеобщему удивлению она сходу махнула рукой, нисколечки даже не обдумывая предложение. И пока окружающие находились в некотором недоумении, она тут же пояснила своё молниеносное решение:

– Купить корову – это хорошо, а вот Москву посмотреть – ещё лучше!

– Да куда ты, старая, в своём ли уме!? – пыталась образумить её, не на шутку испугавшаяся за здоровье уже сильно полюбившейся древней старушки, Прасковья Андреевна, – А вдруг где дорогой помрёшь...

– Дак велико ли моё косьё? Бува найдётся место на руси¹⁴, где закопать. Иль тебе не интересно было б на Москву посмотреть и узнать, правда ли говорят, что Москва каменна, что и земля там тоже каменна!?

– А Париж ты, случайно, не хошь посмотреть? – не унималась и ехидничала Прасковья Андреевна.

Махонька резко призадумалась: «про Киев я слыхала, про Смоленск слыхала, про Ростов, Рязань, Ярославль тоже...». Она тут же, одномоментно, будто бы телепортировавшись, будто бы душой отделившись от тела, побывала сразу во всех древнерусских городах и осмотрела сверху всё своё древнерусское былинное царство.

А наведя мгновенную ревизию по всея Руси, она вдруг обнаружила в своих старинах непонятно откуда взявшееся белое пятно. Немало и глубоко удивившись в себе такому непростительному упущению,

¹⁴ Русь – безграничная ширь, необъятное пространство.



она живо поинтересовалась:

– А где нук-от Париж находится?

– Дак за Архангельском! Даже ещё дальше Москвы будет – пака-а-а-ая глухомань...

Здесь, в студёном северном краю, где один лишь декабрь – двенадцать месяцев в году, а остальное – лето, люди как-то по особенному чпуп, холят и лелеют каждое северное слово, нянчат его в колыбели сердца своего, словно согревает оно душу, словно исходит тепло от него, как от солнца.

Знала ли, догадывалась ли Махонька о том, что не только сердце её, а полностью весь её сосуд человеческий был наполнен живым Словом, кое есть имя Божие. А потому через неё, через слово её, через старины её будто бы воплотился Сам Бог. Ведь Слово Божие – это семя, а земля для Него – сердце человека. И посему, теперь уже Москва каменная, испосковавшись по слову живому – лесному, дремучему и неочищенному, носила вешую старушку на руках, аки в колыбели сердца русского, холила и лелеяла её, аки младенца Бога живого.

Правда!!! Правда!!! Не верите!?! Вот вам крест! Да она и сама про то скáзывала землякам своим – пинежанам, мол, «по Москве на бескóнех ездила», по бишь ни на конях не еживала, ни ногами не хаживала, а на руках носкóм носили. Во как!!!

Но это было потом. А сейчас Махонька наша гостит в Москве. И пы уж, Ольга свет Эрасовна, накорми-ко ненасытну нашу душеньку Марью Мипревнутой Историей наяву, о которой бабушка неустанно воспевала во сказаниях, во былинах, в преданиях...

Потому по Шуре Соколовой и был вручён эпот хрустальный сосуд сердца русского – Махонька, с тем, чтобы наполнить его, чем «попросится». Вместе они спали гулять по Москве, и дя начала заглянули в Третьяковскую галерею, где на одной из картин Махонька встретила своих старых друзей-богатырей: Илью Муровича, Добрыню Микипича и Алёшу Поповича. Для неё они



всегда были живыми, ибо не раз, и не два, и не тысячу встречались они на волшебной тропе той лесной. Душа её взошла, аки тесто на дрожжах: миг глаза возгорелися тёплым пламенем; заблестели, как звёздочки яркие; заиграли, как солнечны зайчики. И не нужен уж путь был никакой экскурсовод – на радости такой несметной Махонька сама ему, а заодно и всем путь близ находившимся, не удержавшись, стала быть воспевать:

– Поглядите-ка, люди добрые, на преславных сих богатырей! И не сказка путь вам какая-нибудь побаска, а жизнь всамделишная. Ишь как Илья Мурович из-под длани врага высмаприват!

Зоркий глаз его как стрела наточена,
 На руке его палица спопудовая,
 А ему как рукавичка пуховая
 Вздымет Илья свинцову палицу
 Да выше могучных плеч.
 Жахнет палицей попереже себя,
 Да отмахнёт созади себя...
 Вправо, влево спанет настегивать,
 Вражью силу обихаживать...

И, выложив всё, что знает об Илье, она перевела взгляд на Добрыню Микипича:

Смолоду Добрыня, еще лет двенадцати,
 Пошёл с мальми робятами поиграти на улоньку.
 Ищо стал он шупочки зашучивать:
 Кого за руку возьмёт – руку выдернёт
 Кого за ногу подопрёт – ногу вышибёт
 По белой шеи ударит – голова с плеч долой
 Доходили жалобы на него до мапки,
 До честной вдовы Омельфы Тимофеевны
 Падал он своей мапки в резвы ноженьки:
 «Уж ты, ой, государыня – мапушка,
 Благослови-ко меня идти-ехапи
 Во далече, во поле чистое...»



Ох, и берёт он с собой только лук тугой,
Тугой лук да калёну стрелу
Три года Добрынюшка спольничал
У князя Владимёра во Киеве.
Три года Добрыня во послах живал,
У неверных – немецких королей...

Не обошла она вниманием и Алёшу Поповича. Всех былинной правдивую накормила, да и сама насыпилась.

Побывали Шура с Махонькою и в гостях у царя Ивана Грозного, у гробницы его во Кремле со зубатыми красными стенами, да заглянули ещё и к жене его Марье Демрюковне:

Во городе одном, да во хорошем
Соизволил царь Иван Васильевич
Соизволил государь наш жонипися.
Да не у нас на Руси, не в Москве белокаменной
А у царя да во Большой орды
Кастрюка, сына Демрюковича
На его сестры родной – Марьи Демрюковне...

И в какой бы край-уголок Москвы ни пришла, не наведалься наша Махонька туп же в памяти, с языка её, аки с блюбочка, разливалась песнь былинная. Только жаль, что мост «калиновый» из былины одной оказался вдруг каменным – ну и что с того? Всё равно же есть мост, значит, правда то – была, ну не выдуман он! Поверьте же!

Абсолютно всем словам своих былин она находила «телесное» подтверждение. Да и как туп не поверишь?! Хотя она и без того всегда верила в Слово живое.

Сим образом, Махонька вдохновенно и восторженно впитывала дух родной московской старины, будто бы всю жизнь здесь прожила.

Мимо её проносилась лишь жизнь московская, современная: ни прамвай, ни иная громтехника, ни электропеатр со рекламой глазгучею, ни магазины с поварами заморскими не касались души нашей бабушки – её мудрость природная опгородилась высоким



частью от прогресса научного суетою его житейскою. Вся во образах исторических проживала она безвылазно. Не замечала она даже собственных о себе в газетах похвальных статей – ну, неграмотна она, ну и что теперь!?

А издания те все брэнчали наперебой, мол, 24 сентября 1916 года в самом центре Москвы, в Большом зале Политехнического музея впервые в истории России предстал пред всей честной публикой удивительный феномен – чудо-сказительница прям из леса дремучего вышедша, что звать её Марьей Дмитриевной Кривополеновой, что запомила она весь столичный культурный небосклон светом северного слово-сияния, что пронеслись над Москвою вовсе не раскаты гром-молнии, а раскаты неслыханных доселе наших же, родных, русских бывальщин...

Газетный бум подхватили художники и поэты, писатели и скульпторы... всяк творец на свой лад спешил создать свою Марью Митревну, но, конечно же, во общем созвучии.

Полетела тогда свежерезанная на древе гравюра Махоньки руки мастера Павла Павлинова в ту самую галерею, супь, Третьяковскую, ко друзьям её, богатырям-сотоварищам – Илье, Добрыне и Алёше Поповичу, и ещё в Беларуссию, в государственный худмузей преподнёс свою «Вещую старушку» скульптор Сергей Коненков. Не забыта она и на малой родине – Пинежье, создал свой портрет Бутюков Владлен, и ещё..., и ещё..., и ещё... – так по всей Руси она вмиг разлетелась.

Но опять же, начало было отнюдь не столь сказочно – ведь не публична она ещё, не привычная:

Ольга Эрастовна вывела махонькую Махоньку на сцену за ручку, словно первоклассницу в первый класс и, засуетившись, а может, так и задумано было, оставила одну.

Представление ничего особенного не предвещало, а потому публика, собираясь в зале, лениво шаркала об пол ногами, стучала деревянными сиденьями-раскладушками и громко разговаривала. Махонька же долго и терпеливо наблюдала за ними.



А кто-то наблюдал и за ней: на сцене находилась крохотная фигурка – то ли девочки, то ли бабушки, одетой в белую рубашку и во старинный длинный синий сарафан, сверху донизу спереди прошитый широкой лентой, да ещё чуть подтянутый длинным с кисточками поясом.

На голове её был домиком повязан платок. А потому никто даже не заподозрил в ней арпистску – думали, что уборщица, сего ради долго не смолкали. Наконец-то бабушка устала от шума и крикнула в зал:

– Ну-ко, угомонипесь-ка!

И тут же, рассмотрев вдалеке полутёмного зала высоченных людей ростом под потолок, она осеклась, расперялась и побледнела... Настала мертвецкая пишина, которая вызвала на сцену расперявшуюся Озаровскую:

– Что? Что случилось, бабушка!?

– Да п-п-ты шшо, девка?! Куды п-п-ты меня привела? – процедила Махонька надпреснувшим голосом с мелкодрожащей губой. Глаза же ее остекленели, наполнившись страхом. Она трижды судорожно перекрестилась. Заметно заикаясь и пыкая пальцем вверх дальнего конца зала, она испуганно прошептала:

– Т-п-ты погляди-ко вон п-там, вдали – там не люди, там в-в-великаны!

Долго пришлось объяснять бабушке, что там, вдали вовсе не великаны, а такие же люди, как и все, просто пол в зале косой, неровный и постепенно поднимается, а вместе с ним кажется и то, что ей кажется...

Но нашу бабушку на мякине не проведёшь! Ведь «косой пол» звучит ненадёжно, неустойчиво, фальшиво. А ведь «слово» должно быть «твердо», потому как СЛОВО есть Бог, а Бог не может быть фальшивым. Да и правда: разве может быть пол косой или неровный?

И до тех пор, пока Ольга Эрасовна саморучно не подхватила бабушку и не прошла с ней по залу, Махонька никак не могла



успокоиться... А поверив своим ногам и глазам, она обмякла-таки и с облегчением запела про Христово Спасение:

Да как зайдут человеche на Хивон-гору
Да как взглянут человеche да вниз до Земли...
Ища, чем мапи-Земля пренаполненна?
А принаполненна та душами грешными.
Протекала тут да река огненная,
Река огненна да как пещь адова.
От востоку текла в плоть до западу:
Ширина-глубина да немеренна.
Через реку ту огненну да перевоз всё же есть.
Перевозчиком служил Михайло Архангеле...
Михайло Архангеле да со Гавриилом Архангелом
Ищут праведных душ, перевозят их за реку,
Перевозят да переносят их на ту сторону
Ко пресветлому раю, да ко Христу самому...
Тут и грешны души крычат зычным голосом
«Перевезите и нас на ту сторону
На ту сторону да через реку огненну...»
Отвечают им Михайло со Гавриилом Архангелы:
«Ох, уж души вы, души грешные,
Вы не знали ни среды, ни пятницы,
Дней тех роковых, когда Бог Христос,
В среду предан был, а во пятницу,
А во пятницу на кресте распят,
Да с терновым колючим венцом на главы.
Вы не знали Христова да воскресеньица
Уж вы в Божью-то церковь да не хаживали,
Уж вы звону колокольного да не слыхивали.
Потому и не велено, не приказано нам
Возить вас да на берег тот,
Уж пойдите вы, души грешные,
В реку огненну, в муку вечную...»



Тёмный зал молчал – был словно пуст, ни звука: люди то ли призадумались о жизни вечной, то ли уснули, то ли давно уже разошлись...

Чтобы разрядить обстановку в зале и настроить публику на живое общение, известная и любимая народом артистка Ольга Озаровская сама вышла на сцену:

– Господа! Есть загадочный край на Руси, отдалённый от мира болотами. Там мужик не боится урядника, не ломает шапки перед начальником... Так живут на Русском Севере. А ещё там живут сказки чудные – это дивные лесные создания: не увидишь их, не пощупаешь, а ведь есть же они – во плоти, в слово впаяны... Говорят северяне азбучно просто, вроде по русскому. Между тем, слова у них древние, бородастые. Речь их плавная с самоиронией и будто сама собой переплавляется в сказку, переливается в слиток и заспывает на холоде, сохраняясь до поздних времён. Словом, нелёгкое северное бытие преуглубляет события, а сказка преувеличивает его. Вкупе же получается прочнейший, пожизненный сплав – былинный... Что ни событие там – то быль, а что не быль, то небыль – небывальщина да неслыхальщина. Сим живут там люди, сим и питаются...

Озаровская отчётливо понимала то, чтобы расшевелить зал, нужно начинать с весёлой, шуточной и бесшабашной старины, а потому, подмигнув Махоньке и шутя подтолкнув её в плечо, чтобы «разбудить», она весело шепнула ей: «пировал-жировал государь...». От этих слов бабушку словно подменили – она тут же прибодрилась, откашлялась, развеселела ...наконец-то, распелась и даже пустилась в пляс.

Прирождённая артистка на ходу распаковывала и применяла как новые, импровизированные, так и проверенные жизнью приёмы привлечения внимания слушателя. В ход пошли и топотульки, и хлопотульки, и взмах платочка, что на пальце прицеплен был... Она словно дирижировала огромным коллективом, а весь зал в едином порыве то и дело подхватывал каждый её всплеск и подпевал ей, и топотал, и хлопал, и подплясывал...



Бабушка говорила о древностях, как о дне вчерашнем, хотя вру – как о неслыханных доселе свежих новостях, касающихся каждой русской души. Она доставала «новости» из себя, как из бездонного сундука: а вот это слышали!? А пуп так-то было: дело лихом обернулось, в замочек временем сомкнулось...

С концерта бабушку уже выносили, качая на руках под радостный гул тысячной толпы, хвостом потянувшимся за ней по Москве. Её фотграфировали, интервьюировали, угощали в шикарных ресторанах... Начались бесчисленные концерты в Твери, Пепрограде, Харькове, Таганроге, Саратове, Новочеркасске...

Россия словно очнулась и ожила, вострепенулась и воспрянула духом – будто бы вспомнила что-то очень важное, без чего жизнь – сущая погибель. Ей бы ещё встать, сделать шаг и поле-те-е-е...

– В Архангельско попадать надоть! – вдоволь накупавшись в море славы и любви, осыпанная дорогими подарками и неотступным вниманием, Махонька вдруг загрустила по дому – своей глуши лесной и ...пропинке той.

Ноги знают своё дело, а потому ей захотелось напоследок прогуляться по тихим московским улочкам, где она давно уж освоилась. Да к тому же, приодели её в Москве, принарядили, прям как барыню, госпожу, государыню: шубка с беличьим воротничком, шаль пуховая, оренбургская...

Набродившись вконец, загулявшись аж в полночь, она, чувствовалось, подустала и вдруг поняла, что заблудилась, закружилась и как в пропасть тёмную свалилась – тьма кругом, пустота и мороз... Вдруг, чу! – снег хрустит, кто-то шевелится! Повернулась она – то прохожий был: быстро шёл, съёжившись, и от спужи лютый, сурь, прятался:

– Мил-человек! Господин хороший! – окликнула его Махонька и, шибко обрадовавшись неожиданному Спасению, потчас помолодела аж лет на сто сразу. Обернувшись вмиг девицей красною, она поклонилась ему испово, поясню, ручкой земли аж коснулася, пару ласковых фраз ему выдала, голубыми глазками похлопала...



Попросила его – кавалера того, проводить её, барышню до Сивцева Вражка, 43, где, собственно, и жила Озаровская, у которой Махонька квартировала уж несколько месяцев.

Увидев чудачку сию, поликий сказочный персонаж, будто из сказки впрямь вышедший, он зело подивился и невольно-несознанно включился в игру – заразился, суть: шляпу снял и в ответ склонил голову, мягко подал чуть согнутый локоть под правую её рученьку...

По удивительному поведению и произношению слов, непривычному даже для многошёрстной столицы, где намешано всякого говору, прохожий сильно заинтересовался:

– Откуда же вы, барышня, прибыли?

– С Архангельско.

– Что-то по вам незаметно, что вы были с Архангельска, – кавалер оценивающе осмотрел бабушку с головы до ног. Видимо, по его меркам для небольшого окраинного русского городка лучше подходила бы нищенская одежда. Бабушка же, уловив, к чему топт клонит, расхулиганилась и, как молодуха, созорничала:

– А что, разве у меня на шее преска¹⁵ должна висеть?

Газетная молва о возвращении Махоньки к родным пенатам распормошила, взбудоражила и распрясла спящий зимой Архангельск – оказывается, и на Севере люди газеты читают – поморы, суть, в курсе, чем живёт и дышит вся Русь.

И понеслось! Именные купцы снарядили и отправили за Махонькой сани тёплые с медвежьей полостью; наперебой хвалились личным знакомством с ней; даже родственнички вдруг опыскались...

А губернатор-то! Губернатор, выйдя на встречу к ней, поцеловал её сморщенную, иссохшуюся, пергаментную ручонку, заманил в гости на званый обед, да бумагу важную выдал, мол, дальше в деревню «ехать бабушке, как чиновнику – в наилучших санях с провожатыми и колокольчиками».

¹⁵ Поморы с архангелогородчины издревне прозваны прескодами.



Близ же города Пинегы Махоньку уже поджидала Пелагея Андреевна, причём со строгим наказом от Ольги Эрастовны положить все бабушкины деньги в банк от греха подальше. А путь и банкиры не прочь породниться со звездой былинною:

– Стой нам что-нибудь, бабушка!

– Как сиропиной ходила-пела, дак слушать не хотели, а как обернулась лягушка в царевну, так и на бал спешите! Нет уж! Нечего зря горло драть. – Фыркнула Махонька, развернулась и не стала петь.

А в деревне-то!!! В деревне все поголовно: люди, собаки, сороки... сбежались, слетелись ...и от вестки сей очумевали, недоумевали, судачили: «Что? Что за чудеса? За что это Москва бешеные деньги платит? За ска-а-а-азки!? Да ладно сказки-то заливать!!! Ведь сказки заливать у нас каждый соловей горазд. Ну, да ладно! Видать, нам – лаптям деревенским, не суждено понять душу русскую, не уразуметь мудрость вечную. Стало быть, дураками родились – дураками и помирать».

Большинство деревенских жителей за всю свою жизнь никуда дальше своего болота, что вокруг деревни разkisлось, даже носа не совало, а потому их жуть, как распирало от любопытства:

– Ну-кося, госпожа-бабка, давай докладывай, куда жись-то в городах лепит-капиттсе?

– Ой, ой, ой! Жись – токо держись! – много всяких чувств было намешано в этом ответе. От славы Махонька быстро успала, а потому, вроде как и сбежала. Но с другой стороны – она старины видела во плоти... А больше всего она испосковалась по мапинке своей – тёплой русской печи...

– Ой-ой-ой, как город гудит, аж планета стонет! – старушка мотала головой, аки маятник. – Да и не жись это вовсе, а муравейник каменный. Кабыть, совсем они там задурели от суепы своей. Глянешь на лица их – и те, кабыть, каменные, тяжёлые, аки плиты могильные. А от брюха пузатого скука так и отскакиват. Да и балакают там совсем не по-нашему – с вывертом как-то, на



особицу. У нас говóря крупó замешана, а у них разбавлена, как бы с ленцой, с потягушками, вроде как не выспались, не опохмелились. Мы всё на «о» упираемсе, дак, кабыть, гладко капимсе, а они всё на «а», да на «а», будто бы брюхо поглаживают...

Завидев, что «сказы про города» шибко забавляют да раззадоривают хохочущую деревенщину, Махонька стала преднамеренно передразнивать городских: их акцент, манеры, обычаи, чем и рассмешила всю деревню аж на три года вперёд:

– Дра-жай-ш-ши-я ма-я, га-лу-бушка Ма-рья Ми-ипри-ев-на, ка-а-ак изво-ли-ли па-чи-васть?

– Бабулечка, а, бабулечка! – тут же облепили её внучата. – Где же ты так долго была, мы все глаза проглядели, а тебя всё нет и нет.

– Да я у медведка с детками водилась. Потом к лисе на чай привернула... Она мне новость поведала, мол, налим свадьбу справляет, к себе в гости всех зазывает... На той свадьбе опять же деда Мороза встретила. Тот добряк всем подряд гостинцы раздаёт. Ишь, сколько вам передал! Едва до дому доволокла, то и задержалась так долго...

Как на настоящем базаре струдились деревенские жители посмотреть на подарки бесчисленные: на бочонки с вином неизведанным, да на новы наряды невиданны – сарафаны, платки, шубки..., да на гостинцы внучатам неслыханны... А впрочем, кому что приглянулось, тут же широким жестом мизерной Махонькиной ладони упекало из дома, как песок сквозь пальцы. С величайшей радостью стала Махонька «подавать» направо и налево каждому просящему невзирая на лица, ибо она как никто знала цену малейшего подаяния.

– Ой, проведёт, промотает она всё богасьтво своё, – гудели, судачили люди вокруг.

И теперь уже сытым и богатым оказалось не под силу разгадать, раскусить и постигнуть извечную христианскую мудрость-загадку – «счастье нищего – раздавать».

К тому же, всем виделось очевидным, что бабкины гонорары



пробуждали в хищнике-зятё сильно уж нездоровую ласку к тёще — он и на коня попросил, иль хопя бы дом подновить... А как только все деньги испарились, «выдавил» он старуху из дома вон: «нашшэ лишний рот кормить?»

И вскоре уж всё вернулось на кру́ги своя́.

Что ж — не впервой. Благо, ноги помнят своё дело. Хотя ...сколько не молодись — далеко уж не семнадцать годков... Вот и пришлось однажды заглянуть Махоньке на чаёк к местному учителю:

— Васильюшко, напиши-ка в Москву Начарскому¹⁶. Он ить мне академический паёк пожизненно выписал... А воп чего-то нынче никаких денег не дают. Бува Начарский чего проказит!?! — впервые в жизни Махонькины слова явно пошатнулись, раскисли, расплылись. В этой луже сомнений она ощущала себя неуютно, да и вообще не хотела бы в ней топтаться... Но, видимо, чуяла она неприятный подвох и, будто бы оправдываясь, тихим голосочком добавила:

— Он ить мне полусапожки на шнурочках подарил — порá-а-апо баскí¹⁷, а ещё, ласково так государственной бабушкой возвеличал... Бува и обиделся, что я ему варежки не связала. Хто зна, хто зна чё!?

Потом она пошла по знакомым — а у неё пуп все знакомые, дак может и всех обошла. Вот и засиделась глубоко за полночь. Домой засобиралась...

— Да не ходи ты, Марья, никуда, оставайся! Ишь, какая непогодь там, сумазбродица!

Но ноги навязчиво звали её в пупь, и она лишь покорно послушалась повелителя своего.

Выйдя из хорошо протопленной избы на морозный разряженный воздух, Махонька одолела уж полпути, как вдруг ...оступилась: это немощь предательски набросилась на неё сзади и громадной волной накатила, закрутила её и согнула как гвоздик, в крючок. Не удержавшись на ногах, Махонька бочком повалилась в глубокий перинный спудёный сугроб. В глазах её резко помутнело, голова

¹⁶ Луначарский Анатолий Васильевич нарком просвещения РСФСР

¹⁷ Порáпо баско — очень красиво



пошла кругом, уши заложило... Сквозь смёрзшиеся ресницы она пыталась разглядеть хоть какие-нибудь огоньки, хоть какой-нибудь избы, да хоть что-нибудь...

И где эта кроха только силы в себе нашла?

Чуть отлежавшись, она не сдалась и поползла; поступалась в чью-то избу – открыли; попросилась на ночлег – пустили; а на тёплую русскую печь можно!? – да, пожалуйста!

Полуглухая и полуослепшая, полупромёрзшая и едва живая, в сильном жару и бреду, Махонька заползла на печь и пихонько запрянула былинку, другую, третью и так пела вплоть до агонии.

Смерть на любимой русской печи, с любимыми русскими былинами на устах – это ли не русская сказка с Русского Севера.



ПОБЕДИТЕЛЬ

Международного литературного конкурса малой прозы

«Этноперо»

II МЕСТО

Томилов Андрей Андреевич

«За искренность и непосредственность мироощущения»

СИНИЙ ЦВЕТ

Какое яркое, какое ослепительно яркое солнце! Хочется не просто прищуриться, хочется плотно закрыть глаза, да еще и руками прикрыться, спрятаться в густую тень леса. На севере каждое лето нестерпимо жаркое, а солнышко так слепит, так слепит. Ох, уж это север. Прошлогодня хвоя, пересохла под таким солнцем и теперь хрустит под ногами, и хруст этот слышно босыми подошвами. И шишки сосновые, попадают под голые пятки, лопаются с каким-то преском и просвистом, разбрасывают зрелые семена в сторону от пропинки. День летний так долог, так долог, как нигде в другом уголке мира, только здесь, на севере. И улыбаться хочется, повернуться к палящему солнышку, и улыбаться, улыбаться.

Но это не тот крайний север, где тундра без конца и края, нет, здесь и лес есть, тайга. Таежные участки расположены в основном вдоль рек, огромными лентами. Их так и называют, — ленточные боры.

На самом деле это и есть тайга, только она северная. Некоторые острова тайги вид имеют угнетенный, деревья приписнуты, придавлены суровым климатом, и крону свою несут как флаг, выпянутую в одну сторону. Это постоянные ветры, господствующие, они чаще всего дуют в эту сторону, и поэтому и ветви на деревьях растут именно в ту сторону, по ветру. Дико и холодно в таком краю в зимнюю пору. Стужа охватывает,



пробирает до самой души, высушивает, вымораживает стойких северных жителей. Но люди и здесь живут. Даже любят этот дикий, простывший край, любят его морозы, любят ветра и метели лютые, – это их родина. Любят и живут.

Но летом хорошо. Уже весной, когда сходят снега, а они действительно «сходят», а не тают, как в других частях планеты, становится тепло и радостно на отогретой душе, и хочется улыбаться и чего-то там петь. А в борах, в сосновых борах, простырающихся вдоль спокойных рек, раскудрявится, распушится после зимовки белый мох, под названием ягель, и как же спанет чисто в лесу, так прибрано спанет, что хочется опуститься на колени и вдыхать этот волшебный мир, впитывать его кожей, слушать ушами, смотреть на него, смотреть и запоминать.

Санка, или, как его называла бабушка Саска, с рождения был слепым, он таким и родился в этом далеком хантыйском стойбище оленеводов. Солнышко не слепило его даже тогда, когда Санка прямо, во все глаза «смотрел» на него. Видеть красоту мира он не мог, воспринимал этот мир другими способами: щупал его, по рукам, по ногам; нюхал, запоминая, как пахнут те, или другие предметы, слушал. Звуков в окружающем мире было очень много, так много, что это и радовало, но и пугало, – их невозможно было все запомнить. А ещё, они постоянно меняли свое место: только что посвистывали в этой стороне, и тут же, перемещались совсем в другую, в противоположную сторону. Со сменой ветра и деревья шумели по-другому: по тихо перешептывались, а по шумели так, словно ругались между собой.

Санка понимал, что это птицы, у них есть крылья, которыми можно держаться за воздух так же крепко, как мы держимся за землю, что птицы так быстро перелетают с одного дерева на другое, и поют там, где захотят, но это так сложно понять, – по ним совершенно невозможно ориентироваться.

Даже солнышко непостоянно. Санка надеялся на него, когда бродил по лесу: уходил, когда грело одну сторону лица, а возвращаться



нужно было, когда солнышко грело другую сторону. Но так не всегда получалось, – то набегали тучи, и солнышко совсем переставало греть. То Санка долго задерживался в лесу, и само солнышко перемещалось, но эту солнечную хитрость Санка уже изучил и стал приспособливаться к ней. А еще дорогу подсказывала река, она так нежно звенела своими струями на перекатах. Можно было идти вдоль берега и попасть как раз в стойбище.

Как шумит одинокая сосна, там, на самом мысу, недалеко от берега, он выучил давно, с самого детства. Он может услышать этот шум даже из леса, когда шумят все деревья, и выйти напрямик к сосне. Она шумит как-то по-особенному, со свистом, это в разбитой молнией вершине образовалась такая выемка, издающая своеобразный звук. Санка на него ориентируется и выходит к сосне. Правда, по лесу надо ходить медленно, чтобы не налететь на другие деревья, чтобы не наколоться на торчащие сучья. Они молчат, молчат даже при сильном ветре, словно специально ждут, чтобы сделать больно.

Раньше, когда Санка был совсем ребенком, недалеко от сосны стояла первая юрта. А там, дальше, ближе к берегу, было большое кострище, где постоянно горел костер, даже ночью. За кострищем снова стояли юрты, а между ними были устроены высокие, крепкие вешала для юколы. Там часто сушилось или мясо, длинными лентами с поперечными надрезами, или рыба.

Ребятам подсаживали друг друга, снимали недозревшее мясо и, спрятавшись в береговые тальники, объедались этой вкуснятиной. Собаки, дружной стайкой, перлись здесь же, ожидали, когда дети наедятся досыта, и отдадут им остатки пиршества.

Стойбище было живое. Там постоянно кто-то переругивался, перекликался, гремели ложками и кастрюлями, беззлобно ворчали, пявкали собаки. А когда стадо оленей пригоняли на ближние пастбища, тогда на стойбище начинался праздник, – всегда было много мужчин. Они разговаривали громко, смеялись, ругались, что-то рубили попорами или колотили, ремонтируя старые нарты.



Звуки летели далеко в тайгу, отскакивая от деревьев и поднимаясь все выше и выше, пока совсем не пропадали в голубом, голубом небе. Можно было уходить далеко, не боясь заблудиться, жизнь стойбища было слышно даже из-за реки. Хотя на том берегу реки Санка никогда не был, только мечтал об этом. Дедушка усаживал Санку на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, рассказывал, какое бывает голубое, голубое небо. Рассказывал, какие бывают сказочные закаты, какие красивые звезды на ночном небе. Дедушка Ойка любил Санку и часто раскрашивал для него окружающий мир. Но Санка постоянно видел этот мир лишь в синем цвете, и днем, и ночью. Он сам придумал, что именно этот цвет называется синим, и полюбил его, жил с ним.

С годами ближние пастбища «выбили», так говорили взрослые пастухи и старики. Это значит, что олени съели и вытоптали ягель, который очень медленно вырастает снова, пастбища восстанавливаются несколько лет. А коль не стало пастбищ, значит и оленей стали отгонять все дальше и дальше. Наконец наступил момент, когда пастухи приняли решение о переносе стойбища в другое место.

Женщины собирались вместе и плакали. Старики тоже были недовольны, но спорить с пастухами не хотели, обсуждали переезд между собой. Когда-то и они были молодыми, и тоже перевозили стойбище. Было жалко уходить с обжитых мест, но оленям нужны новые пастбища, а пастухам нужны женщины, они должны жить рядом.

Весной, когда стало совсем тепло, а снегу осталось меньше четверти, мужики выстроили целую вереницу нартов, на которые стали грузить все имущество и пожитки. Разбирали юрты, упаковывали и укладывали на нарты, крепко привязывали. Собаки, предчувствуя перемены, радостно гавкали, носились по стойбищу, мешались под ногами. Но на них никто не ругался, разделяли с ними радость перемен и тревогу нового обустройства.

Санка тоже бродил между нартами, то и дело натываясь на



них, на какие-то узлы, свернутые, перевязанные шкуры, торчащие целым ворохом жерди от разобранных юрт.хлопоты с переездом совершенно обескуражили его, напугали своей непредсказуемостью, неизвестностью. Он был так растерян, что на некоторое время даже потерялся в привычном пространстве и не сразу отыскал свою юрту. А когда отыскал, понял, что дед и бабушка Энны сидят внутри, не принимая участия в общих хлопотах.

Протянув руки к медленно плещущему очагу, пытался понять, о чем молчат старики. Какая-то скорбь и безысходность чувствовалась в их молчании.

– Мы не едем? – наконец не выдержал он.

Старики молчали. На какой-то миг даже показалось, что их и нет, что он один в юрте, но он чувствовал их. Не слышал, а именно чувствовал. Он всегда их чувствовал, людей, которые заменили ему и мать, и отца, которые вырастили его, научили жить в этом мире, в этом сложном, даже для зрячего, диком, лесном мире.

– Остаемся? Одни остаемся?

Бабушка тяжело, с каким-то всхлипыванием вздохнула, а дед, пошевелившись на своей лежанке, прошамкал:

– Чего мы там не видели? Только обузой станем. Пускай едут. Здесь жить будем. Ты здесь вырос, свои пропинки протоптал, с каждым деревом за руку знаком. А там все чужое, трудно тебе будет.

Санка молчал, осмысливал услышанное, но в душе, независимо от него самого, поднималась и ширилась какая-то необъяснимая радость, даже захотелось обнять стариков и радоваться вместе, но он сдержался, поднялся от огня и, молча, вышел из юрты.

Рядом продолжалась суэта. Если бы Санка мог видеть, он бы увидел, что уже почти все юрты разобраны и место на берегу просветлело, прямо от дедовой юрты стало видно реку, Санка так ее любил. Он каждый день спускался к воде и гладил ее ладонями, здоровался. Гладил даже тогда, когда на воде начинал появляться тонкий ледок, он был удивительно приятный наощупь и хрупкий. А еще он любил молодые березки. Такая нежная, такая бархатистая



«одежка» была на этих деревьях, что Санка не успавал их гладить пальцами, прижиматься к ним щекой, ласкаться к ним. Когда он приходил домой, бабушка всякий раз всплескивала руками и восклицала:

– Снова с березами целовался! Весь белехонек!

Мочила в теплой воде край полотенца и вытирала Санкино лицо от березовой раскраски.

Суэта на стойбище постепенно улеглась, гомон стих. Ещё было слышно, как вдалеке влзаивали собаки, радуясь движению, радуясь новой жизни, радуясь весне. Санка стоял рядом с дедом и бабушкой, провожал отъезжающих. Он тихонько помахивал им вслед рукой, понимая, что они уже далеко, что они уже скрылись в мелколесье и не видят Санку со спариками, но все помахивал и помахивал рукой, как научила бабушка.

– Саска, дров неси. – Бабушка всегда называла его Саской, у неё это получалось нежно, тепло.

Ни бабушка Энны, ни дед Ойка, которых Санка преданно любил, не были ему родными. Они нашли его в лопухах, много лет назад. Однако уже лет четырнадцать прошло с тех пор, или тринадцать. Дед с бабкой спорили иногда, – сколько же лет Санке, но так и не могли договориться. Тем летом стояла сильная жара, вода в реке упала, это запомнилось, но когда это было? Ведь летняя жара на севере, – не новость, она каждый год бывает. И каждый год вода в реке падает, только потом, когда начинаются дожди, вода снова приходит. Река вздувается и подтапливает стойбище.

Да, стойбище тогда было большое. Все лето и большую половину зимы рядом со стойбищем базировались геологи. Они жили в палатках и очень любили молодых хантыйских девушек. В тот год даже из поселка много молодых людей переселилось на стойбище, и жили здесь все лето и осень, помогали геологам в их трудной паежной жизни.

Потом геологи уехали. Уже глубокой осенью, и даже зимой, собрали свои заскорюзлые брезентовые палатки, погрузили их на вездеходы



и уехали, оставив после себя только груды мусора на берегу, пустые консервные банки, да вонь сторовшей солярки.

А уже весной, в начале лета, стали рождаться ребятишки со светлыми волосиками, очень красивые лесные человечки. В каком же году это было?

Вот и не запомнили, в каком году это было. Собаки за юртами подняли несусветный гвалт, будто бы прижали соболя совсем рядом. Лаяли и лаяли, азартно, напористо. Деду надоело слушать, как они попусту орут поблизости, он и пошел посмотреть: кого они там добывают. Обратном пришел с добычей, припащил синюшного, облепленного муравьями и лесным мусором ребенка, — новорожденного. Держал его почему-то за ноги, далеко отспранив от себя. Голова, как и руки ребенка, висели безвольно, как у мертвого. На головке курчавились нежными завипушками слипшиеся рыжие волосики.

Бабка испугалась, начала хлопотать над находкой, спряхивала наглых, брызгающихся кислотой муравьев. Дед вспоминал всех молодых баб, живших тогда в стойбище, вслух перечислял их, но так и не определил, кто бы из них мог тайно родить и выкинуть младенца. Не принято было так поступать, даже и грехом-то такое не назовешь, — не было определения такому поступку.

Втайне даже радовались подарку судьбы, своих-то детей Бог не дал. Несколько дней купали ребенка в шкуры и тайно содержали. Шкуры приглушали постоянный писк, была надежда, что в стойбище никто не прознает о находке. Кормили всякой дрянью, то мяса нажует бабка, завернет в пряпицу и сунет, топ вроде успокоится, чмокать начнет, но топ же отворачивается и снова кричит. То ореховых зерен мелко-мелко напелкует, теплом водицей разбавят и дают сосать. Чмокает, конечно, с голодухи-то, но опять не долго. Кричит.

Дошло даже до того, что решили ценную суку подоить, дед предложил, — получилось, почти полкружки молока добыли от связанной, спеленатой собаки. Пацан молоко захлеб выпил, и соску



не надо. Но сука больше не далась, не смогли поймать на очередную дойку, даже к щенятам не подходила. Бабка ругалась, называла деда «ики», значит, стариком:

– Говорила тебе: пусть сам сосет, глядишь и прикормился бы.

Но дед подкладывает ребенка под суку не позволил. Теперь вот уже и пожалел, но не признавался. А собака так больше и не далась.

Побоялись заморить голодом ребенка, – рассекретили.

Двое в стойбище в то время кормили своих ребятишек. Бабка договорилась, – согласились кормить по очереди. Так и вырастили Санку, но мать не нашли, не объявилась она.

Хотели съездить в деревню, выписать метрики, но кто-то сказал, что заберут мальчонку, если узнают, что без родителей. До деревни, до сельсовета даже зимой, на оленях не просто добраться, два дня пути, а уж летом и вовсе, даже в при ночевки не уложиться. Так и не поехали за документами. А когда определили, что ребеночек не зрячий, снова обрадовались, – не заберут, кому он такой-то нужен, ущербный. Не заберут. Но на всякий случай молчали. И своим людям наказали крепко накрепко: языки прикусите. Пусть себе живет, будет лесным человеком. К каждой нарте, отправляющейся в поселок, бабушка Энны подходила и, грозя сухим кулаком, напоминала, чтобы про Санку молчали.

Пока дед еще работал, состоял пастухом в бригаде, приходилось уходить на летние пастбища, брали с собой и ребеночка.

Первое, – это присмотр, а еще после отела в стаде молока было вдоволь. А главное, то, что подальше от власти, уж в пундре можно быть спокойным, никто не отберет Санку.

Шли годы, Санка подрастал, был живым и подвижным мальчишкой, дружил со всеми сверстниками стойбища. Ребяшня часто потешались над Санкой, – заманят его подальше от стойбища, спрячутся и припихнут. Наблюдают, как топт шарается от дерева к дереву, ощупывает незнакомую тропинку, прислушивается к дальним звукам, принюхивается к запахам, приносимым ветром.

Бабушка причесывала внуку рыжие кудри гребнем, у которого не



хватало доброй половины зубьев. А когда кудри спускались на уши, брала нож и ловко обрезала излишки, складывала завипки в карман халата. Нельзя волосы на ветер пускать, – птица поймает волос и пустит его на строительство гнезда. И станет топ человек болезненным и слабым. Бабушка сжигала Санкины волосы, когда оставалась одна, чипала какие-то заговоры и бросала золотые колечки на огонь. Надеюсь, что ребенку объявится счастье.

Дед Ойка очень любил внука. Когда ушел из бригады по причине болезни ног, посвятил себя полностью Санке. Делал все возможное и невозможное, чтобы тому жизнь не была в пягость, чтобы радовала даже такая, однобокая, слепая жизнь. А еще надеялся, что наступит такое время, когда внук прозреет, когда он увидит свет и возрадуется. Ведь глаза-то у Санки были, хоть и не такие, как у всех людей, блеклые, словно подернутые белесой пленкой, но были же. Часто спрашивал:

– Совсем ничего не видишь? – Помахивал рукой перед лицом ребенка, – Ничего не видишь? Санка кривился, плотно сжимал веки, снова раскрывал глаза, выказывая белесые зрачки, признавался, что видит только тогда, когда плотно закрывает глаза.

Дед сердился. – Как можно видеть с закрытыми глазами!

Санка легонько улыбался, прилипал к деду:

– Тебя вижу. Всегда тебя вижу, даже тогда, когда тебя и в стойбище нет. Бабушку вижу, реку вижу, лес. Все вижу. Все.

Когда Санка окреп, дед стал более настойчиво обучать его жизни. Водил его в лес, где рассказывал и показывал ягоды, грибы, лекарственные растения. Парень с удовольствием познавал новый для него мир, нежно ощупывал и запоминал съедобные ягоды, находил в беломошниках грибы, широко загребая пространство босыми ногами, нюхал добрые грибы и поганые, старался запомнить разницу. Едва дотрагивался до растений, указанных дедом, растирал листик между пальцами и снова принюхивался. Казалось, невозможно запомнить столько запахов, но Санка запоминал. Когда через несколько дней они с дедом снова бродили по лесу, Санка вдруг



останавливался, показывал в сторону и говорил, что где-то там растет пикча. Дед оглядывался кругом и с удивлением обнаруживал, что на опушке действительно есть курешок этой травы, которую охотники используют вместо стелек в обувь. В другом месте Санка снова останавливался и принохивался, указывая по на лекарственную травку душицу, а по и самостоятельно срезал обнаруженный дудник, чистил его, как был обучен, и начинал есть. Дед довольно улыбался.

Возле юрты дед установил на двух чурках маленькую лодку – обласок. Заставлял Санку садиться в эту лодку и держать равновесие, не заваливаться на бок. А через какое-то время они вместе уселись в лодку и прокатились по реке, недалеко от берега. Санка был в восторге.

Стали ездить на рыбалку. Санка упирался легким шестиком, а дед сидел впереди и помогал веслом, подруливал в одну, или другую сторону. Санка быстро всему обучался. Он хорошо чувствовал берег, не выводил лодку на стремнину, легко обруливал лежащие в воде деревья и коряги, определяя их по шуму воды.

Дед обучил его счету и Санка самостоятельно уходил далеко в лес, или на калпус, где успешно собирал клюкву, нежно ощупывая, поглаживая каждую кочку. Считал шаги, определяя направление по солнышку, которое грело сперва одну щеку, потом другую. Случалось, конечно, солнышко пряталось за тучи, тогда возникали трудности с возвращением и Санка пугался. Но приходил дед и выводил его домой. Дед всегда следил за ним, не допускал беды, но с опаской думал о том времени, когда Санка останется один. Хвори и старость придвигались все ближе и ближе.

Когда все люди переехали на новое место жительства, когда стойбище опустело и припихло, тайга, с её обитателями, словно накрыла одинокую юрту, словно оказалась ближе. Особенно осмелели дикие птицы. У деда было старое, одноствольное ружье, да зарядов давно уж не было. Он часто сокрушался, обнаруживая по утрам близко сидящих тетерок, или разгуливающих на пристани важных



и спокойных глухарей. Сокрушался, что нет папронов, а то был бы вкусный, наваристый суп.

Бабка понимала, что дед просто бахвалится, лишь для виду сокрушается. Она уже давным-давно не видела в юрте мяса диких птиц, не чувствовала запаха горелых перьев в костре. И не верила, что Ойка – ики когда-то сможет добыть петерку, уж больно он сделался старым и больным.

Санка часто встречал в бору глухарей, с шумом и грохотом поднимающихся совсем рядом, пугающих его стремительным хлопаньем крыльев. Он просил деда научить его ставить ловушки на этих доверчивых птиц. Наконец дед выбрал время между приступами ревматизма и смастерил с внуком слопец, – ловушку на глухарей. Ловушку установили на возвышенном берегу, как раз там, где чаще всего встречались эти обитатели тайги.

Основная хитрость в этой ловушке была в изготовлении насторожки. Насторожка должна быть чуткой и быстрой, чтобы успеть уронить приподнятые бревнышки как раз в тот момент, когда глухарь пойдет под них и наступит на веточки, специально подложенные на сторожок.

Санка долго ползал на коленках вокруг устроенной ловушки, прогал каждую деталь, каждую веточку, тщательно изучал пальцами насторожку. Казалось, что он еще и принохивается к каждой детали.

Уже через день он принес расплющенного, раскинувшего крылья глухаря. Восторгу не было предела. Бабушка Энны сварила вкусный, наваристый суп, куда добавила сушеных грибов. Вариво Санке до того понравилось, что он уже через несколько дней объявил, что смастерил еще одну ловушку, дальше по тропе. Смастерил сам, без чьей-то помощи. Дед, лежа на оленьих шкурах, рассказал, что в эти же ловушки можно будет ловить и зайцев, когда выпадет снег и наступят холода.

Зайцы в то время приходят ближе к реке, чтобы полакомиться горькими веточками пальника, погрызть кору осинки. Вот в это



время в ловушку надо побрызгать мочой и заяц пуда обязательно залезет, больно уж любят они человеческую мочу лизать. Санка запомнил.

А еще дед учил внука плести ловушки для рыбалки. Для этого он резал тонкие ивовые прутья, плел из них специальную бочку с хитрым заходом для рыбы и учил Санку, как устанавливать такую ловушку недалеко от берега. Санка целыми днями бразгался в реке, устанавливал приготовленные снасти. Ох, и не простое это дело, в крошечной-то слепоте.

Летними вечерами, а то и до самой ночи, Санка любил сидеть на берегу и слушать журчание воды. Иногда дед приходил и усаживался рядом:

– Чего ты ночью-то? – но тут же понимал, что вопрос звучит несколько глупо, поправлялся: – Спать уже надо бы.

Санка молчал. Он находил дедову руку и нежно гладил ее. Дед снова подавал голос:

– Дорога-то лунная, какова...

Санка молчал, пытаясь понять, о какой такой дороге говорит дед, но тут уже понимал, что сказал о непонятном для слепого человека явлении и принимался объяснять.

– По воде, через всю ширину реки рассыпались блески, блески.... От луны отсветы такие, красиво очень....

– А луна.... Это что?

– Это как солнце. Только не греет. Пойдем лучше спать.

Шло, капилось неумолимое время, подступала холодная, промозгло вьюжная северная зима. Как-то они одни спанут зимовать на старом стойбище. Когда лег устойчивый покров снега, а мороз сделал воду в реке прозрачной, когда вдоль всего берега выросли, напалились хрупкие забереги, и стало ясно, что оттепелей больше не будет, на стойбище наведались гости.

Олени, запряженные парами, резво припрянули двое нартов. В передних нартах, ловко управляя хореом, подгонял оленей старый хант, друг Санкиного деда, по имени Якур.



Якур был не намного моложе деда, но вид имел бодрый и с оленями управлялся легко и ловко. На вторых нартах, одетая в теплую оленью доху со спранным названием «гусь», сидела молоденькая девушка, улыбалась во все северное лицо, радовалась, что на их пути встретились люди.

Санка, выскочивший на звук приближающихся повозок, первым определил, что приехала девушка. Как он это смог узнать, как догадался, остаётся только гадать. Он стоял чуть в стороне от всех, потупившись и, широко раздувая ноздри.

Гости привезли сородичам мяса, которое передали пастухи, немного крупы, муки и сахару. Они пили чай, рассказывали вести о новом стойбище, о том, что осенью в стадо пришли волки и попортили много оленей. Двоих задрали до смерти, а покалечили больше десятка. Но пастухи смогли их отогнать, даже добыли одного.

Якур тихонько дремал, опустив голову на грудь, потом снова прихлебывал остывший чай, рассказывал о родичах и о том, какие там хорошие пастбища для оленей, не то, что здесь.

Девушку звали Вульга. Она была так прелестна, что и глаза не нужны, чтобы понять это. Её голос так приподнимал, так заставлял запаивать дыхание, так нежно и струисто журчал, что меркли все прочие звуки, меркли и замирали. И синий цвет, наполнявший глаза, становился таким прозрачным, таким красивым, что Санка невольно начинал верить в чудо. А когда снова выходили из юрты, Вульга просто и свободно взяла Санку за руку, чтобы помочь ему, у него замерло и остановилось сердце. Таким счастливым он еще не был никогда!

Гости уехали дальше. Якур пообещал, что на обратном пути обязательно заедет, привезет соли и все те продукты, которые заказали старики.

После этого события Санка подолгу сидел на берегу замерзающей реки и все вспоминал бархатный голос девушки, вспоминал необычный, но такой приятный запах её волос, её кожи. Воображение



рисовало на синем фоне сознания какие-то невысказанные картины, перелистывало события, которых и не было вовсе, да и не могло быть. А как было тошно и стыдно думать о девушке, о Вульге, как о женщине, с её едва уловимыми, пряными запахами именно молодой самки. Было стыдно, но так хотелось думать об этом.

Санка промерззал до последней косточки, сидя над обрывом, возвращался в юрту и ещё долго не мог прийти в себя, на вопросы стариков отвечал невпопад.

В самом начале осени Санка не уберёгся и налетел лодкой на плывущий навстречу ствол поваленного дерева. Когда дерево плывёт по течению, оно не издаёт никаких звуков, вот Санка и налетел на него. Облас перевернулся, Санка вывалился в холодную воду и с трудом выбрался на берег. Как известно, редко кто из северных людей умеет плавать, а уж Санку этому делу и вовсе не учили. Но выбрался. Перепугался сильно, обласок отпустил и течение унесло его в неведомые края, но, слава Богу, всё закончилось благополучно.

После этого происшествия рыбацкие стали поблизости от стойбища. Соорудили два береговых заезда, приспособили посередине по одной большой «морде» и стали ловить покатного ленка, да хариуса. Иногда попадались небольшие чирьи, да сизги. Конечно, когда была лодка, можно было ездить подалее, к широкому и глубокому заливу, куда рыба скапывалась на отдых, задерживалась там, отдыхала от сильного течения. Там ловилась хорошая рыба, крупная, сушили её, делали юколу.

Здесь, возле стойбища, улова хорошего не было, рыбы ловилось гораздо меньше, да и «одна мелочь», — как говорила бабушка. С такой рыбы юкола не получится. Но, делать нечего, и такому улову были рады.

Чтобы проверить ловушку, нужно было балансировать на бревне, придерживаясь за высокие колья загородки. Дедушка Ойка на бревно залезать отказался, боялся не удержаться и свалиться в холодную воду, всю работу приходилось делать Санке. Уже потом, когда морозы напаяют крепкий заберег, можно будет подходить к



ловушке прямо по льду, дед снова станет помогать, – выпряхивать рыбешку, собирать ее в плетеный туес и приносить в юрту.

Бабушка, словно что-то предчувствуя, весь остаток лета и всю осень учила Саску, – она только так его называла, – готовить себе еду. Учила варить суп, правильно и достаточно солить варево, рассказывала, давала щупать и нюхать всё, что бросала в котел. Учила правильно, наощупь чистить рыбу, чередить и разделявать попавших в слопец глухарей. Саска поначалу сопротивлялся, ему были не по нраву кухонные заморочки, но потом сдался, выполнял все, что приказывала бабушка, учился кашеварить.

Голубые морозы выкапывали на ночной небосклон огромные звезды, которые Санке казались фантаспически красивыми. Дедушка, как мог, рассказывал о сиянии звезд, рассказывал как их много, как выглядила луна, которая представлялась в виде пастуха, а звезды, это олени, разбежавшиеся по всей тундре. Санка же рисовал свои фантаспические картины и любовался ими, любовался, стоя возле юрты и запрокидывая голову в ночное небо. С упоением втягивал широкими ноздрями морозный воздух, который помогал сознанию рисовать замечательные картины несуществующего мира.

Осенние забереги крепили и прирастали каждую ночь, но середина реки еще несла и несла стылую воду. Иногда на печении можно было углядеть прозрачную шугу, которая проплывала стремительно, с шорохом и шуршанием. Казалось, что вода выпирает выше кромок льда, и было удивительно, как она не разливается по сторонам, несетя и несетя к своему неведомому пределу. Но никто не любовался этой замерзающей рекой, Санка, хоть и сидел подолгу на стылом берегу, но реки не видел, любовался лишь придуманным образом Вульги, а дед с бабушкой и вовсе, не взглядывали на русло, следили лишь за тем, как нарастает заберег возле ловушки, ждали, когда можно будет на него выходить без опаски.

Ещё когда была лодка, дед с Санкой ездили далеко, далеко, за двадцатый поворот реки. Там стояло развалившееся, со стгнившей



крышей, зимовье. Здесь когда-то давно охотились русские промышленники, добывали белку, соболя, выдру. Хорошо брали медведя, да сохатого. Вот они и построили это зимовье, в красивом, светлом бору, на высоком не затопляемом даже в самые высокие паводки берегу. Потом, по каким-то причинам зимовье осталось без присмотра, без хозяина. А если нет пригляда, любое строение быстро приходит в запустение, старится и умирает.

Так случилось и с этим зимовьем. Провалилась крыша от великого снега, а коль не стало крыши, стены начали быстро трухлявиться и рассыпаться. Пастухам такое жилье было без надобности. Они привыкли жить в юртах, и смотрели на умирающий таежный домик, когда случайно оказывались рядом, пустыми, безучастными глазами.

Дед рассказал Санке об этом зимовье и по очень заинтересовался. Он так участливо ощупывал каждое уложенное в стену бревно, так тщательно прощупывал стыки и швы, принимаясь к моху, выдернутому из паза, что дед не выдержал и спросил:

– Для чего так хорошо изучаешь? Зачем тебе это?

Санка присел на собственные запятники, навалился спиной на остаток стены и загадочно улыбался. Помолчав, сказал:

– Себе построить надо. Там будет тепло. И дыму от костра не будет.

Эта идея так глубоко запала в мозги молодому таежнику, что уже по первому снегу он начал готовиться к строительству. Выбирал в лесу средние по толщине деревья, валил их, где топором, где при помощи пилы, разделял строго по мерке. Волоком, по снегу припаскивал каждое бревно к юрте и закатывал на подложки. Готовил материал. Он уже знал, из рассказов деда, что в поселке все живут в таких домах и людям это нравится.

Санка так увлекся своей идеей, что не замечал начавшихся раннезимних морозов, крепче и крепче сковывающих непокорную реку. Он даже перестал выходить на берег и проверять рыбные ловушки. Дед, хоть и кряхтел, хоть и ругался потихоньку, но



брал старую пешню и тащился проверять. Медленно, с трудом раздалбливал лед, цеплял крючком «морду» и тяжело выпягивал её на лед. Выпряхивал рыбешку, ставил ловушку на место, чуть прибрасывал маину снегом. Тащил улов к юрте. Иногда с ним ходила старуха, помогала выпягивать ловушку.

В конце загородки, ближе к свободному печению, вода бурлила, вспучивалась, песнилась под свежим льдом и невольно подмывала его. Подмывала. Ночной мороз прудился на славу, и лед крепчал, но днем чуть оттепливало и бурливые потоки снова испончали ледяную скорлупу, делали её хрупкой и ненадежной.

Бабушка чуть покачнулась, не удержала равновесие и сделала потт роковой шаг, наступила на тонкий лед.

Лед легонько хрупнул и просто исчез, не затрещал, не провалился с треском, он просто исчез. Старая женщина охнула, легко опустилась в студеную воду и ухватилась за край промоины, с трудом сопротивляясь напористому печению. Провалившись сразу по грудь, она быстро погружалась, вода переливалась через плечи, ужас расширил ее глаза до предела, крик застыл на синюшных губах, но так и не смог вырваться в морозный воздух.

Дед отбросил пешню и кинулся на подмогу, ухватил старуху за одежду, и она впилась костлявыми руками в него.

Течение, спремительная, паяжная река оказались сильнее двух старых людей. Река легко справилась с ними и быстро, без мучений, спрятала обоих под лед, утащила в вечность... в небытие...

Зашумела дикая тайга, завывала на разные голоса, окуталась внезапно налетевшим снежным зарядом. Снег резко ударил в лицо Санке, который возился с очередным бревном, прелюя его в сторону юрты. Снег так напористо колот прикрытые глаза, так завывал и всхлипывал поднявшийся ветер, что Санка почувствовал беду.

Воткнув в бревно попор, он выпрямился и стал нюхать воздух, словно хотел понять, с какой стороны надвигается большая беда. Но так ничего и не уловив, двинулся к юрте. Стариков не было. Санка заторопился, стал сбиваться с пропинки, ведущей к реке.



Выйдя на берег, он сразу понял, что случилось непоправимое: старики не слышно, значит, их просто нет, а в журчании воды возле ловушки появились новые звуки, указывающие на то, что промоина расширилась, открылась.

Упав на колени, Санка ползал по тонкому льду, ощупывая его, не веря в случившееся горе. Но нашел только острую пешню с деревянным черешком. Дед очень дорожил этой пешней, она и правда, была удобная и легкая в работе.

Зима выдалась вьюжная, метельная. Частые ветра бесновались, закручивали кроны деревьев, а морозы делали деревья хрупкими, помогали ветру ломать сучья, кроны, выворачивать вековые стволы.

Горе, навалившееся на молодого таежника, никак не проходило, не отпускало от себя.

Якур, как и обещал, заехал по пути из поселка, привез продукты, привез для деда новую малицу. Узнав о случившемся несчастье, долго молчал, курил маленькую трубочку, уставившись на огонь. А за стенами юрты бесновались нескончаемые порывы ветра. Казалось, что это злые силы тайги, вырвавшись на волю, носятся друг за другом и радуются свободе, радуются навалившемуся на людей горю. Ухают и гогочут, прыгают и кувыркаются, – бесятся.

Якур ночевал. Уговаривал Санку поехать с ним, в новое стойбище, обещал помочь поставить там, на новом месте юрту. Говорил, что там много людей, что они помогут жить. Но Санка не соглашался, он боялся перемен, боялся новых, незнакомых мест и тропинок. Боялся неизвестности.

Здесь у него все пройдено, запомнено, все тропинки измерены шагами, а в сторону калтуса устроена целая изгородь, по которой легко ориентироваться, когда ходишь по ягоды. Это был знакомый калтус, и на нем всегда родилось много ягод. А что будет на новом месте? Да и кому он там нужен, со своей немочью. Санка не хотел, чтобы ему помогали из жалости, он всегда очень остро это чувствовал и переживал.



– А.... Вульга...? – Спросил он с каким-то придыханием.

– Вульга осталась в поселке. Она выучилась на фельдшера и теперь там работает. Она приезжала к родителям, они пасут оленями.

Якур внимательно посмотрел на молодого парня, покачал головой и зачем-то прищелкнул языком.

– Ладно, поеду я. Ты уж, как-то живи. Долгая у тебя будет зима, долгая.

Зима действительно оказалась безмерно долгой, вьюжной и морозной. Снегу было мало, оттого и лютовали морозы, а местами, на мысах, завывающие ветры и вовсе вылизывали землю до наготы, напрочь унося малый снег в леса, да кущи.

Такая малоснежная зима, хоть и холодная, помогла Санке пережить, перезимовать. Ловушки, сооруженные еще с дедом, а потом и самостоятельно, работали исправно, то и дело, снабжая охотника глухаряпиной, да зайчапиной. А однажды в ловушку попал неведомый зверь, которого Санка раньше никогда не встречал и в руках не держал. Зверь был больше зайца, с мягкой, приятной на ощупь шерстью, с кисточками на ушах и удивительно острыми когтями. Именно по остроте когтей Санка и решил, что этот неведомый зверь, с приятным, лесным запахом шерсти, не кто иной, как рысь, дикая, шажная кошка.

Дед Ойка однажды рассказывал, как они охотились, еще по молодости, и на его поварища напала рысь. Зверь сидел на толстом дереве с обломанной вершиной, караулил добычу. Внизу, под деревом, проходила тропа, по ней дикие олени ходили на солонец, вот рысь и караулила добычу. А получилось, что охотник запоздал, и шел по этой тропе уже в сумерках. Рысь бросилась на него и стала убивать, но вовремя поняла, что это человек, отпрыгнула в сторону и долго стояла, смотрела на лежащего человека, потом медленно, словно нехотя, удалилась. Напарник тогда отделался крепким испугом, да несколькими царапинами, – повезло ему.

И вот теперь Санка сам поймал этого легендарного и очень



редкого зверя. Аккуратно сняв шкуру, Санка разделал пушку и наварил много мяса. Ах, какое это вкусное мясо! За свою короткую жизнь он уже пробовал разное мясо: лось, олень, медведь, заяц, белка, утки, гуси, лебеди, глухари, рябчики. Каждое мясо имело свой, определенный вкус, свой запах, свою пряность. Очень вкусной казалась лосиная губа, или медвежьих лапы. Нравился Санке сырой костный мозг, добываемый из оленьих ног. Бабушка называла это лакомство смачным и коротким словом «чомга».

Всякое мясо нравилось, даже скользкая белка, сваренная со смородиной и рябиной, была вкусной, но такого мяса, как у этого зверя, Санка еще не пробовал. Очень ему понравилось мясо рыси.

Весной, когда солнышко снова стало теплым и редко пряталось за тучи, когда снег присел, прижался к самой земле, а возле берега реки уже можно было услышать звонкий, радостный ручеек, снова приехал дедушка Якур. В этот раз он жил в Санкиной юрте много дней.

Они вместе разобрали и выпасили на берег заездки, чтобы весенняя «дурная» вода не унесла ловушки. Вместе наметили место для строительства зимовья и даже начали строить, положили два венца. Дедушка Якур был сильно против строительства, но Санка настаивал, и тому ничего не оставалось, как только помогать.

Потом дедушка уехал. Санка снова остался один, со своими заботами о добывании пищи, приятными хлопотами по строительству нового жилища, остался со своим синим цветом и прекрасными звездными узорами, нарисованными воображением.

К середине лета Санка построил свой дом. Уложил в стопу все заготовленные бревна. Эта работа здорово отвлекала его, не позволяла задумываться об одиночестве, о немощи, которую он даже мало замечал.

Закончив построить стены, Санка столкнулся с неразрешимой проблемой: как делать крышу? И вообще, как построить дальше? Он же ни разу не видел дом с крышей. Вообще не видел, ощупывал старое, развалившееся зимовье и все. На нем не было ни потолка, ни



крыши. Все Санкино строипельство застопорилось.

Он снова целыми днями бродил по калпусу и собирал приспевающую клюкву, да редко попадающуюся морошку. В бору опыскивал бруснику и грибы. Грибы резал на пластинки и сушил их, то на солнышке, когда оно еще грело, но в основном у костра, на листике, оставшемся от бабушки.

Готовил дрова. Много дров, чтобы зимой можно было их не жалеть, подкидывать и подкидывать в костер посреди юрты.

Когда началась зима, совсем по-другому засвистели назойливые ветра, зашумели кронами ближние деревья, когда в лицо прилепали целые пригоршни колючего снега, и на душе стало совсем пусто, Санка услышал дальний хруст оленьих бабок.

Оказывается, он уже давно прислушивался, словно ждал кого-то, и вот, вдалеке стало слышно, как бегут олени, как хрустят их уставшие копыта, как тяжело дышат загнанные животные.

Еще издали Санка понял, что нарты не одни, их несколько. А когда они подъехали к юрте, и даже еще не остановились, почувствовал, что здесь Вульга. Сердце снова, как и в прошлый раз, остановилось, а потом так запрыгало, что Санка побоялся, что это увидят другие и прикроют его рукавицей.

С Вульгой приехал и дедушка Якур. А еще приехал молодой, но очень важный начальник, так понял Санка, как только пожал незнакомцу мягкую, расслабленную руку.

Санка пытался угощать гостей ухой, которая была сварена из сухой рыбы, но такое угощение понравилось только дедушке Якуру, он очень хвалил варево. А Вульга накрыла низкий стол привезенными продуктами. В юрте так приятно пахло, что у Санки кружилась голова. Вульга сама вскипятила чайник и заварила свежий чай. Она то и дело брала Санкину руку и вкладывала в неё кусочки колбасы, сыра, хлеба и других вкусных угощений. Подливала ему сладкий чай.

Дедушка Якур объяснил, что начальник, его звали очень необычно: Константин Кириллович, приехал специально, чтобы поговорить с Санкой. Санка ужаснулся, когда услышал такое имя, он сразу

понял, что никогда не запомнит его, а если и запомнит, то никогда не сможет выговорить.

А еще Санка понял, что этот самый Константин Кириллович и есть тот русский, о которых иногда рассказывала бабушка, – запах от него был совсем не такой, как от нормальных, знакомых с детства, запахов людей. Санка понимал, что это не совсем уж плохо, коль с этим человеком приехала даже Вульга, но насторожился.

Константин Кириллович действительно, в понимании Санки, оказался не очень хорошим человеком, – он стал уговаривать его бросить свою пайгу и переехать в поселок. Обещал выписать документы, – оказывается, все люди должны иметь документы, обещал поселить его в отдельную комнату в общежитии, где не нужно будет всю ночь жечь костер, там и так будет тепло. Обещал направить к нему учителей, которые обучат его грамоте, он много чего обещал, но Санка и не думал соглашаться, упорно молчал, уронив дико заросшую голову на грудь. Константин Кириллович даже говорил о каких-то врачах, которые смогут обследовать Санкины глаза.

И только несколько тихих слов, сказанных Вульгой, все решили. На третий день обоз, состоящий из четырех нартов, увозил Санку в новую жизнь. Странно это выглядело, но Санка все выворачивал шею, чтобы повернуться лицом к покинутому стойбищу, к оставленной юрте, одиноко торчащей на берегу таежной реки, и кособокому срубам зимовья, казалось, что он все это видит... Видит, и прощается...



ПОБЕДИТЕЛЬ

Международного литературного конкурса малой прозы

«Этноперо»

III МЕСТО

Вершинина Ольга Михайловна

«За предчувствие своего поэтического мира»

ПЕСНЯ СЕВЕРА

«Они спустились в долину, и было их четверо...»

Инга улыбнулась, поймав себя на том, что опять не может отделаться от ощущения нереальности происходящего. Иногда казалось – она покинула собственное тело и смотрит на всё сверху, паря над группкой замёрзших уставших путников, бредущих через мелколесье. Уже неделю они шли по горам. Путь был нелёгким, в прежние времена людей по нему вела лишь необходимость. Когда-то саамы перегоняли стада оленей через местные перевалы, а порой племена покидали родные долины под написком чужаков. Но теперь у каждого из этой четвёрки имелись совсем иные причины идти по веками проторённой тропе.

Перед Ингой качался в такт шагам красный рюкзак Вероники. Худенькая девушка, самая младшая в компании, впервые попала в поход и явно не рассчитала силы. Успешный не по годам пиар-менеджер, непрошибаемый и напористый на работе, в горах оказался неожиданно слабым. Но, даже рыдая на привалах, Вероника стискивала зубы и продолжала путь, преодолевая себя и будто побеждая нечто, известное ей одной.

Впереди Вероники вбивал в землю шипастые подошвы не разчиненных туристических ботинок Тимофей – предводитель похода. Он легко тащил старый, советского образца, рюкзак, вместивший и палатку, и большую часть провианта. На равнине парень работал, раздавая листовки у метро, и не помышлял о карьере. Однако стоило



ему только шагнуть к подножию гор, как он становился истинным лидером маленького кочевого народа.

Иногда Инга оглядывалась на замыкавшего процессию Евгения. Самый спокойный и сдержанный в отряде, Евгений лишь изредка отвечал на вопросы или что-то советовал, но обычно – просто молчал. Он считался незаменимым в походе поварищем, который пащит много, ест мало и никогда не жалуется. Евгений был важен для похода, как надёжный камень на склоне хребта – неизменный в любых обстоятельствах.

Несмотря на обычные для августа дожди и другие трудности, ребята так свыклись с походной жизнью, что на пятый день пути рискнули брать по два перевала подряд – и вскоре поплапились ободранными ладонями и сбитыми коленями. Курумники – каменистые осыпи – перевала Рамзая оказались детской площадкой по сравнению со спуском, который их ждал после Западного перевала Петрелиуса. Огромные глыбы лежали так, что приходилось перепрыгивать черные бездонные разломы. Пот заливал глаза, пронизывающий ветер по забирался под одежду, по норовил опрокинуть путников, словно подталкивая к обрыву.

Так они спускались несколько часов, выбившись из сил, пока не выбрались на едва заметную тропу, с каждым шагом становившуюся всё отчётливее и потому вселявшую надежду. Теперь их вполне устроила бы просто ровная каменная полка, где не пришлось бы лежать, крепко вцепившись друг в друга, как недавней ночью.

Тропа понемногу превратилась в дорогу, и к вечеру среди узких ёлочек полярного редколесья показались обветшалые домишки контрольно-спасательной службы. Впервые ребята подошли к ней так близко – в прежних походах их путь обходил базу стороной, хотя по правилам следовало регистрироваться в самом начале похода. Тем не менее, каждый маршрут группа начинала, не сообщив спасателям, куда направляется, и всякий раз рисковала остаться в глубине гор безо всякой надежды на быструю помощь. Но теперь усталость недельного карабка по скалам и близость ночи



заставили пупников, не сговариваясь, повернуть в сторону базы.

Территория базы была обнесена разновеликим частколом, вызывавшим в памяти образы языческих капищ, а на ветвистых корнях, наподобие рогов, прибитых к брёвнам, препетали от ветра разноцветные куски ткани. Войдя в открытые ворота, ребята сбросили рюкзаки и огляделись.

– Вот бы ещё увидеть настоящих саамов! – раз мечтался Тимофей. – Не как местные фольклорные ансамбли с мобильниками в меховых чехлах, а таких, чтоб на самом деле оленей через ущелье гнали...

– А чем тебе Инга не подходит? Она ж у нас потомок саамов! – возразил Евгений.

– Не пойму, как саамская восьмушка может сделать человека саамом? – усмехнулся Тимофей.

– Думаю, мы здесь их не встретим, разве что севернее, – сказала Инга, глядя в приближавшуюся к ним фигуру. – Туп вполне прозаичные дядьки бродят.

Подошедший мужчина в тёмно-синей форме спасателя, с сигаретой в зубах, неторопливо приветствовал их кивком и протянул руку:

– Пётр.

– Здравствуйте, – Тимофей пожал руку и представил своих спутников. – Мы просто мимо шли...

– Вам бы зарегистрироваться, маршрут наметить, – всё так же неторопливо сказал Пётр. – Чтoб знать, где вас искать, если что...

– Вы всех так оптимистично настраиваете? – съязвила Инга.

Пропустив замечание мимо, суровый северянин продолжал спокойно курить и разглядывать пупников. Вероника зарделась под его взглядом и поправила распрёпанные ветром волосы.

– Хоть приблизительно скажите, куда собираетесь?

– На Северный Чорргор... – робко протянул Тимофей.

– Прямо сейчас? – уточнил спасатель без тени иронии,



отглянувшись на плотную шапку облаков, лежащую на перевале. — Учтите, там почти везде курумники, ночью тяжело идти.

— Мы, конечно, выйдем, как чокнутые... но нет, не сейчас, — засмеялся Тимофей.

— Тут разный народ ходит, — серьёзно сказал спасатель. — Вы лучше сегодня тут ночуйте, а если хотите забесплатно — ставьте свою палатку. Просто нашей нойде тяжело столько групп в день пропускать.

— Это как? — ребята переглянулись.

— Ну, у нас нойда есть, она камлает с бубном, чтоб облака поднялись. Сегодня с утра одну группу пропустила через перевал, скоро ещё будет пропускать, ребята уже вышли в ту сторону. Так что давайте завтра, ладно?

— Хорошо... — ошалело согласился Тимофей. — А как это происходит?

— А вы пока спановитесь лагерем там, у леска, и приходите через час, сами всё увидите!

Кроме них, других туристов на базе не оказалось. Выглянувшие из ветхого сарая за домами мужики (один с лопатой, другой — с киркой) молча кивнули ребятам и поспешили скрыться в молодом ельнике, подхитившем вплотную к забору.

Поляна на краю базы вполне подходила для лагеря, а главное — у выложенного камнями теплящегося кострища лежала куча дров. Пока парни ставили палатку, девушки приготовили ужин и подогрели воду для чая. И сразу вместе с сытостью пришло чувство усталости. Тимофей выпянул ноги к огню, Вероника сонно прислонилась к его плечу, а Евгений замер, уйдя в мысли и устремив взгляд в костёр.

Каждый раз, глядя на своих спутников, Инга понимала, что они больше знают о своей жизни и даже о будущем, чем она, несмотря на образование и опыт. В городе работа командным инструктором давалась ей легко, но всё это пахло дешёвой копией жизни, в которую разрешают поиграть закоренелым неудачникам, да и



то лишь на время. Глядя на офисных клерков, под её руководством неуклюже пролезающих в каком-нибудь лесопарке через верёвочные препятствия, Инга почти физически ощущала бессмысленность своей работы. Право возглавлять толпу таких неудачников казалось ей сомнительным достижением, но другого способа проработать жизнь она пока что просто не знала.

И только в горах Инга получала ответы на все свои вопросы, а потому каждый год, сложив в рюкзак лишь самое необходимое, мчалась из города на север. Холодные синие озёра и каменные осыпи, изукрашенные пёстрыми мхами, уже стали для неё родными. Инга шла по горам, день за днём меняя стоянки и чувствуя, как сама меняется с каждым шагом. Солнце высветляло ей волосы и покрывало лёгким загаром лицо. Широкие лямки рюкзака раскрывали плечи навстречу горам. На привалах по ногам пробегала горячая волна усталости, заставлявшая все мышцы сладко ныть. А горные ручьи вновь наполняли тело силами с каждым глотком. Инга радостно следила за своим преобразованием, и не только внешним.

В горах ей становилось по-настоящему спокойно, словно среди старых друзей. Порывы ветра дружелюбно подпалкивали вверх по склону, редколесье само расступалось, открывая пропки, невидимые для других путников, а камни выдвигали уступы именно там, куда она собиралась поставить ногу. Даже мелкий морозящий дождь, влажной пылью оседавший на лице, ничем ей не мешал. Инга не просто любила горы – это чувство было взаимным. Особенно остро она ощущала единение с горами, сидя вечером у костра, как сейчас.

Было так приятно отдохнуть после броска по ущелью, но час уже прошёл. Допив чай, Инга встала, чувствуя непривычную лёгкость, появляющуюся каждый раз, когда она двигалась без огромного рюкзака, с которым почти срослась за эти дни. Её слегка колотило от усталости, но пропускать камлание не хотелось.

– Идём приобщаться к культуре?

– Что, саамские корни проснулись? Я-то пойду посмотреть, но чисто в этнографическом аспекте, – уточнил Тимофей. – Ты же



знаешь, я скептик. Ника, идёшь?

– Сейчас, не поропись... – Вероника выпрягнула из ботинок песок и теперь медленно зашнуровывала их обратно негнуцимися от усталости пальцами со сбитыми костяшками. – Инга, ты заметила, какой красавчик этот спасатель? Такие синие глаза...

– Это островной синдром, – хмыкнул Тимофей. – Ты уже неделю никого, кроме нас, не видела. Для тебя сейчас все красивыми будут... По-моему, у этого Пётра взгляд маньяка. Он всё время будто что-то высматривает. Не стоило сюда заходить. Они тут все вообще какие-то спранные, вы этих мужиков в сарае видели?... Может, секта или ещё что похуже...

– По-моему, как раз нужно быть слегка безумным, чтобы сидеть среди гор круглый год, – сказала Инга. – Но это безумие совсем другого рода, чем ты думаешь.

– Всё равно ты, Ника, не очаровывайся, – подытожил Тимофей, любивший оставлять последнее слово за собой, поднялся и зашагал к домикам спасательной службы, а остальные последовали за ним, привычно подчиняясь руководителю похода.

Пётр неподвижно сидел на крыльце, устремив взгляд в глубину гор, будто стремился увидеть, всё ли в порядке, все ли целы. Казалось, он действительно что-то видит там, в дальнем ущелье, и на расстоянии одним усилием воли пытается помочь блуждающим в горах людям. Обернувшись на оклик, он махнул рукой в сторону щебнистой поляны возле небольшого ручейка, где разгорался костёр:

– Пойдём, вон там, сбоку, можно встать и посмотреть... Только не шуметь!

Ребята вышли на поляну, с любопытством разглядывая обещанную нойду. Стоявшая у костра женщина в длинной полотняной рубаше, подпоясанной обычной верёвкой, и драных туристических ботинках на босу ногу, с бумылкой в руке, внешне мало напоминала саамку. Разве что пронзительный взгляд тёмных глаз из-под тяжёлых век да вплетённые в косы полоски рваной ткани, исписанные какими-то знаками, подтверждали её принадлежность



к нойдам. Рядом с ней на земле лежал бубен.

– Какая-то она... – Вероника запнулась. – Непохожая...

– А чего ей похожей-то быть, – Пётр улыбнулся. – Она только на четвертушку саамка, по бабке. А так – в городе живёт всю зиму, только на пик туристического сезона приезжает нам помогать.

Ребята вспали поодаль, с любопытством наблюдая начало камлания. Нойда стояла над самыми языками пламени, медленно покачиваясь, и подол её рубахи, каждый раз, пролетая над огнём, раздувал жар всё сильнее. Скользя глазами по ребятам, она снова устремила взгляд в пламя костра и продолжила качание. В очередной раз качнувшись, нойда точным движением сбросила один за другим ботинки и вспала у самого края пламени босиком. Казалось, пальцы её ног не просто вцепились в землю – они мгновенно вросли в неё, погружаясь в лапки мхов среди острых камней.

Отпив из бубылки, что держала в руке, нойда выплеснула остатки в костёр, и пламя благодарно взметнулось вверх, выбросив сноп искр, осветивший её бледное лицо. Отбросив бубылку, она подняла бубен и начала стучать по нему. Ладонь словно проскальзывала, падая по натянутой коже, но затем пальцы вздрагивали, и раздавался стук, сначала едва слышный, затем всё более отчётливый. Ритм бубна, казалось, был порождён самой природой – он совпадал и с порывами ветра, и с плеском ручья, и с взволнованным стуком сердец случайных наблюдателей. Звук бубна крепчал, нарастая с каждой минутой, сливаясь с огнём и устремляясь вверх.

Вдруг, запрокинув голову, нойда начала издавать отрывистые звуки, которые сначала казались несвязанными, вырывались вразнобой, но вскоре стали складываться в мелодию. В песне звучала дикая мощь, пришедшая из древних времён, когда человек и природа ещё были неразделимы, когда между ними не стояло умозрительных преград из науки, логики и цивилизации. Песня словно просила природу поделиться мудростью и силой, открыть путь среди горных хребтов и защитить хрупкие жизни людей.

– Лаааааа... йлаа... йла-ла-ла... – звуки вылетали из глубины



горла нойды, раскрываясь и дрожа в холодном воздухе долины.

Когда-то Инга чипала о саамских песнях, об этой особенной манере исполнения, когда звук словно раскачивается в теле певца, а каждая нота цепляет соседние полутона. Но теперь ей стало ясно: ни одно из описаний не отражало и десятой доли красоты этого магического действия, что произошло на поляне. Песня, как дым от костра, чуть поднявшись вверх, никла к земле, стелилась среди камней, подрагивавших в такт звукам, петляя по мхам, змеёй подбиралась к ногам, окутывала и проникала в тело, вовлекая в дикий первобытный танец единения с природой.

Резко выпянувшись и словно став выше ростом, нойда вскинула руки и испустила вопль такой силы, что все вокруг вздрогнули, хотя и ожидали чего-то подобного. И песня пошла по кругу на новой высоте, раскидываясь по поляне, растекаясь между сосен в лес, сметая все препятствия на пути, как лавина.

– Мне как-то не по себе, – шепнула Вероника, вцепившись в рукав Инги.

– Тс-с... Смотрите, смотрите... – Пётр указал в сторону Чорргора.

Шапка облаков вдруг поднялась и неподвижно зависла над перевалом, будто какая-то невероятная сила удерживала её. Тимофей вскинул бинокль, охнул и затем передал его Инге. Она взгляделась: в щель между плотной, как войлок, тучей и россыпью камней проходили яркие пятна – это была та самая группа, что заказывала камлание. Они подошли к перевалу ровно в нужный момент. Туча продолжала висеть, как приклеенная, и из-под неё вдруг хлынули лучи закатного солнца, сложившиеся на крутом склоне хребта напротив в огромное пламенеющее сердце.

– Не может быть! Как она это делает? – воскликнул до того молчавший Евгений и потчас смущённо затих.

Песня уже звучала по-другому – она не звала, не спрашивала, а приказывала. И повинуюсь этой неведомой силе, все, кто до того просто стояли вокруг, начали раскачиваться, подпевая нойде.



Инга услышала сильный голос, звучащий из глубины груди, и вдруг поняла, что поёт сама. Ей показалось, что она вот-вот взлетит в темнеющее небо и будет парить, сверху глядя на долину, освещённую магическим костром.

Внезапно что-то мягко окутало её тело и приподняло над землёй так, что перехватило дыхание, а затем Инга поняла, что находится в центре огромного круга, охватывающего горы, а от неё расходятся тонкими нитями пути всех тех, кто проходил через это место. Она чувствовала их, слышала их голоса, точно зная, где сейчас эти люди. Кроме ушедшей на Чорргор группы, пятеро мужчин спускались с перевала Рамзая в долину Малой Белой реки, где их ждали друзья, вставшие лагерем, трое совсем молодых ребят сидели у костра в долине реки Тульёк, а по сыпучим каменным обрывам плато Кукисвумчорра карабкались два отчаянно храбрых скалолаза.

Инга выдохнула и чётко увидела сквозь каменные хребты ещё несколько разбросанных по ущельям групп. На берегу Умбозера её будто задержало тёплым потоком воздуха: там стояло лагерем несколько семей, почти ансамбль, если судить по количеству музыкальных инструментов, что они принесли с собой. Уставшие после дневного перехода по горам дети спали кто где: лёжа в палатках поверх спальников, у костра, припкнувшись к рюкзакам, самые маленькие – на руках матерей. А взрослые тихо переговаривались и улыбались, слушая, как звуки гитары, губной гармошки и флейты вливаются в музыку озера. На их лицах танцевали отблески костра. Инга вгляделась ещё и вдруг поняла, что смотрит в огонь, горящий перед нойдой.

Пламя в костре уже поднялось в человеческий рост высотой, и на его фоне фигура нойды в наступающих сумерках казалась огромной и прозрачной. Она словно связывала землю и небо, как поток водопада – неподвижный в очертаниях, но вместе с тем стремительно несущийся в пропасть. Песня резко оборвалась, и всё пространство вокруг поляны будто сжалось. Нойда опустила,



тяжело уронив бубен, крутанулась, зацепив подолом пламя, оно в пот жё миг сбилось, упало на угли и больше не поднялось, испустив струи белого дыма.

Камлание закончилось. В наступившей тишине было слышно только журчание ручья и дальний гул ветра в ущельях. Шапка облаков упала на Северный Чорргор так стремительно, словно оборвалась небесная нить, державшая её столько времени. Не решаясь что-то сказать или спросить, ребята молча стояли, понемногу приходя в себя.

Будничным движением топкнув ноги в ботинки, нойда подняла бубен и усталой походкой направилась к выходу с базы. Когда она прошла ребят, их обдало таким жаром, будто даже её рубаха раскалилась в огне. Нойда обернулась, пристально посмотрела на Ингу:

– Видела?

– Точно видела, вон, как глаза разгорелись, – ответил за неё Пётр и вполголоса, так, что слышала одна Инга, добавил: – Хочешь научиться?

Инга растерянно кивнула, глядя, как нойда уходит за частокор, растворяясь в темноте.

– О чём она? – шепнул Евгений. – О туче или сердце?

– А ты больше ничего особенного не увидел?

– Нет, а что?

– Тогда не знаю, как объяснить... – Инга взглянула на Петра.

Тот улыбнулся, затем отстегнул с пояса рацию и щёлкнул кнопкой:

– Говорит база! Будьте наготове у Кукисвумчорра, там сейчас двое взрослых рискуют. Как поняли? Приём!

По рации что-то пробурчали в ответ, и Пётр удовлетворённо кивнул, прикрепляя её обратно. Заметив взгляды ребят, он объяснил:

– Вот так и работаем потихоньку. Главное – тенты полнее натяните, после камлания всегда дождь идёт...

Из-за ельника показались мужики с лопатой и киркой:



– Начальник, принимай работу, все камни разгребли!

– Сейчас... – Пётр вздохнул. – У нас тут обвал небольшой случился, валуны на дорогу выскочили, кругом выстроились... Опять горы шуют!

Вероника шепнула:

– А мне они сразу понравились! Тимка – паникёр!

Пётр снова закурил и направился в сторону домика спасательной службы, бросив через плечо:

– Это ещё что, вот бабка у неё камлала, так камлала – горы тряслись!

Спотыкаясь о камни, ребята вернулись в лагерь. В палатке при свете тусклого фонарика они ещё раз достали карту, чтобы уточнить маршрут, но то и дело сбивались на обсуждение увиденного.

– Может, заказать у неё хорошую погоду до ущелья Аку-Аку? – предложил Евгений.

– Что, даже ты повёлся? – ухмыльнулся Тимофей. – Не знаю, стоит ли нам туда лезть...

– Мы сегодня видели сердце гор, – горячо возразил Евгений. – Да ради этого стоило что угодно сделать! Мне даже на секунду показалось, что поляна поднялась над горами. Наверное, какой-то оптический эффект. Кстати, а ты что видела, Инга?

– Не знаю, нужно всё обдумать и понять, что именно...

– Ладно, не хочешь – не говори, – Тимофей погасил фонарик.

Забравшись в спальники, они сонно продолжали перебрасываться фразами, один за другим отключаясь от разговора.

Инга лежала в темноте, продолжая думать о словах Евгения. Да, стоило так идти, шаг за шагом преодолевая препятствия, чтобы каждый день приближаться к сердцу гор и к своему истинному предназначению. Внезапно её захлестнуло такое острое ощущение счастья, что Инга даже испугалась: вдруг стук сердца кого-нибудь разбудит? Древняя сила, частичка которой всегда жила в её душе, теперь наполняла всё вокруг без остатка, опьяняя радостью. словно



плотная завеса распаяла, показав нечто истинное, а затем так же резко отделила от всего прежнего.

Вещи уже собраны. Упрям нужно лишь свернуть спальник и попрощаться с ребятами. Да, она останется здесь! Надолго ли – как знать?

Сейчас Инга пвѣрдо знала лишь одно: это самое правильное решение. Она останется легко и без малейших сомнений. А ребята... Всех проих на равнине ждѣт та жизнь, которую они почему-то называют реальной. Но Инга уже добралась к своей цели, увидев кусочек жизни, гораздо более осязаемой и настоящей, чем всё, что прежде держало её в городе.

Дождь бережно и негромко постукивал по тенту палатки, а Инга, закрыв глаза, слушала шорохи ветра, в которых по-прежнему звучала песня севера.



СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

«За возрождение традиций отечественной
изящной словесности»

Евгения Михайловна Перлова

ЗОЛОТОЙ ИДУСЬ

- 1 -

- Нылочка тэ менам¹, иди сюда.
- Деда, гулять!
- Кымора² там ... Ото́рас о́ддьо́н нять³!
- Гулять!

Половина того, что он говорит, – непонятно. Ясно только, что он не хочет идти с ней на улицу. Ну и ладно, продолжаем застёгивать кофту. Натягиваем беретку. Тянемся к ботинкам.

Он «переключается» на русский:

– Алёнушка, сыро, грязно там. Давай в шашки играть. Я мороженку купил, выиграешь – твоя.

Когда тебе шесть, многие вопросы решаются мороженкой. Уже и на улицу-то не больно хочется. Кофта и беретка отправляются на тумбочку.

Дед покряхтывает, улыбаётся, расставляет шашки. Доска старая, потёртая, полировка только в серединке осталась, но все светлые и тёмно-коричневые клетки на месте. Шашки гладкие, полупрозрачные, с лунками ровно под дедов палец. И под Алёнкины при. Дед поддаётся, подсказывает.

– Ура! Победила тебя! – кричит Алёнка и забирается с ногами на диван.

– Тапки-то скинь, а не то бабушка увидит, попадёт нам обоим,

¹ Девочка ты моя (коми-пермяцкий)

² Пасмурно, хмуро (коми-пермяцкий)

³ На улице слишком грязно (коми-пермяцкий)



– посмеивается дед и идёт за обещанной наградой.

– А как «мороженка»? – спрашивает Алёнка.

– На коми-пермяцком-то? Не знаю, – отвечает дед, протягивая эскимо в блестящей обёртке, – не помню. Чёскып⁴?

– Чего? – отзывается внучка.

– Вкусно тебе, – переводит дед, – нравится?

– Ага, чоскит ... аптьё! – вспоминает Алёнка.

Дед расплывается в довольной улыбке.

– Про Перю расскажи, – просит внучка.

– Сама же знаешь. Ты и расскажи, – говорит он.

– Ты, – настаивает Алёнка, – ты лучше знаешь.

– Ладно, – соглашается дед, – жил-был могучий, храбрый Перя-богатырь. Всё время приходилось ему с разными врагами бороться, край и народ свой защищать, поэтому и земля наша пермская, имя его носит. Однажды победил лешего и, дескать, женился на его благоверной, кикиморе болотной, но я так думаю: зачем ему это, если у него жена сама Заря? Она спустилась к нему по мосту-радуге. А бабушку я в театре увидел, она по лестнице спускалась, такая же красивая, как Заря. Вот стал бы я жениться на какой-то кикиморе, если у меня твоя бабушка есть?

Алёнка мотает головой: нет!

Бабушка симпатичная. Всегда с причёской, даже если никуда на улицу выходить не собирается: с вечера накручивает тонкие палочки, которые называются смешным словом папильотки, упрям их снимает и аккуратно расправляет мелкие белые кудряшки, подкрашивает ресницы и губы.

Дед-то на героя-богатыря похож мало: коренастый, небольшого роста. Однако может, такие они богатыри и есть на самом деле? Дед крепкий и сильный, легко может бабушку поднять, которая совсем не простиночка. Говорит мало, но с ним и молчать хорошо. Можно просто сидеть рядом, он будет читать газету, а Алёнка рисовать.

⁴ Вкусно (коми-пермяцкий)



– Бабушка пельняни спряпает, айда помогать?

На кухонном столе, присыпанном мукой, посере́дке кастрюлька с фаршем, а вокруг много-много сочней. В каждый надо положить пол-ложки фарша, потом сочень перегнуть и защипнуть по краям. Дед и бабушка ловко шлёпают пирожки, которые с прямого края делаются дугой на большом пальце и спановятся похожими на уши.

У Алёнки уши вовсе не выходят, а выходят корявые лепёшечки, из которых торчит начинка со всех сторон, но она старается изо всех сил. И успевае́т вопросы задава́ть:

– А вода как?

– Ва.

– Ха-ха, ква – ва-ва. А дерево?

– Пу.

– Пу-пу-пу, пу-пу-пу... А хлеб?

– Нянь.

– Как нянька! Хлеб-нянька. Весёлые у тебя слова!

– Ты давай, нылочка, не отвлекайся, лепи пельняни-то! – строго говорит он, – ну ты и намострячила, давай починю.

– Пельмени, а не пельняни, деда! – сообщает она, пододвигая к нему досочку со своими поделками.

– Это у вас там пельмени, а у нас пельняни. Хлебные уши, – поправляет топ.

– Хлебные уши! – хохочет Алёнка.

– Ага. Дед – пермяк, солёные уши. Поэтому любит пельняни, – кивает он.

– И пестики! – заливае́тся Алёнка.

– Пистики, золотой ид пусь тэ менам⁵.

– А ты мой золотой идусь! – обнимает Алёнка деда за шею, измазывая его мукой.

– Брысь с кухни, развели мне тут беспорядок, – припворно сердится бабушка, и её белые кудряшки подпрыгивают и пружиня́т, когда она качает головой.

⁵ Милая ты моя (букв. золотое ячменное зёрнышко ты моё), коми-пермяцкий



– Баба, я такие же волосы, как у тебя хочу, – заявляет Алёнка, – накрути мне!

– Подрастёшь, накручу, – обещает бабушка.

- 2 -

Алёнка подрисовывает мелом квадраты, девчонки становятся в углы, они шыррез-мышы, а Алёнка кань-кот. В эту игру её научил давным-давно играть дед, и ни один летний день не обходится без неё.

Шырок, шырок, сет менам пельосок⁶!

Девчонки с визгом бегут, меняясь местами. Алёнка шуспра, она успеваёт заскочить в освободившийся угол, теперь водит другая.

Шырок, шырок...

Играли допоздна вчера, а сегодня все подружки в лагерь уехали, так грустно, что и вставать неохота.

– Вставай, нылочка, ид пусть тэ менам, весь день проспийшь!

Умыться, почистить зубы, каша ждёт на столе. Бабушка хлопочет, печёт шаньги.

Внучка ковыряет кашу и вздыхает. Скучища. Алёнке двенадцать, и родители, как всегда, отправили её на лето к бабушке и дедушке в Усолье, а что тут делать, если подружки разъехались?

Дед заходит на кухню, видит хмурую внучку.

– Как дела, как спалось? Мороженку?

– Не хочу. А чего ты не на своём парабарском спрашиваешь? Раньше только на нём и говорил. По-моему, специально, чтоб я ничего не понимала.

– Не специально, нылочка. Сейчас забыл много, только некоторые слова помню, годы-то идут, а на моём парабарском в округе никто не разговаривает. Ты была маленькая, ещё помнил чего-то, а сейчас память дырявая. На Каму сходим? Блинчики покидаем.

– Скучно, деда. Поехали лучше в парк.

– А подружки где? Вчера играли во дворе.

– Непу никого, уехали в лагерь.

⁶ Мышка, выползай, Уголок мне дай! (коми-перм.)



– Ладно, айда за коником, раз на ту сторону ехать, – сдаётся дед.

Коником дед любовно называет свой «Запорожец», неказистый, но бодро бегущий автомобиль. В прошлом году случилась авария: дед заснул за рулём, но слава богу, проснулся перед тем, как машина улетела в кювет, и успел нажать на тормоза. Коник помял боковину о придорожный столб. Дед отремонтировал и собственноручно перекрасил любимую машину из красного в белый, потому что «родной» краски не нашлось. С тех пор бабушка деда одного ездить не пускает, поэтому для него любая маленькая дорога – большая радость, особенно с внучкой.

Коник едет, пофыркивая, поскрипывая. Тут совсем недалеко, десять минут по автодорожному мосту через реку. Ещё пять минут по городу и вот он, парк, липово-полевой, одуванчиково-ромашковый, с каруселями, комнатой смеха и розовой сладкой ватой на длинных палочках. Алёнка капается на самых страшных «Орбите» и «Сюрпризе», а дед делает вид, что не волнуется ни капельки. Потом они сидят на лавочке под кустом жёлтой акации, пьют душистый иван-чай из термоса и улетают бабушкины шаньги со сметанной намазкой.

– Деда, а пистиками вы с бабушкой почему никогда меня не угощали? – спрашивает Алёнка, – а ещё рассказываешь, что они твои любимые.

– Так ведь пистики весной собирают, – отвечает дед, – сейчас то они ыджыт⁷, невкусные. Они рано из земли выходят. Когда они, ую́т⁸, покуда не размяплились, их и собирают.

– Это что – трава какая-то? – удивляется Алёнка.

– Хвощ, молодой да полевой, – смеётся дед, – засолить всё прошу бабку, так она отмахивается, говорит, огурцы девать некуда, стоят по два года.

Алёнка понятия не имеет, как выглядит хвощ, а дед рассказывает,

⁷ Большие (коми-перм)

⁸ Маленькие (коми-перм)



что едят эту дичь в пирогах, в омлете и просто так: отваривают в крепко солёной воде. Рассказывает, как мальцом в войну с другими детьми в полях собирал пистрики, спасение от голода. На вкус молодой хвощ, по словам деда, похож на хлеб, его вторым хлебом коми-пермяки и считают.

– Деда, а давай съездим в твою деревню? – предлагает Алёнка, – туда, где ты раньше жил.

– Аленушка, неп давно моей деревни, мы оттуда ушли, все ушли, – качает головой дед, – не стало деревни. Мне было шесть, сестре семь. Отец на войне пропал без вести, а мать...

Дед поднимает глаза вверх, к синему небу.

– Что с твоей мамой стало? – тихо спрашивает Алёнка.

– Мать болела сильно, мы с сестрой везли... тащили её на телеге... в город. Осень была, бездорожье, до города далеко. Грязь непроходимая, – голос у деда дрожит, – мама говорила: не тащите меня, бросьте туп, идите. А потом сползла с телеги, захрипела и дышать перестала. Нам пришлось прямо там оставить её. В грязи этой... поднять на телегу обратно... не смогли.

Дед замолкает. Алёнка тоже молчит, потрясённая. Потом, всётаки, решается на ещё один вопрос:

– А ты был там... потом? После войны?

– Был, – дед отрывает стебелёк, перегрызает его крепкими жёлтыми зубами, – взрослый уже был, учился в техникуме. Найти хотел, не нашёл ничего. И деревня брошенная. Дома пустые, неп никого. А сейчас чего ехать, там всё развалилось давно.

– А сестра? – Алёнка перебил дед за рукав пиджака. Дед в любую погоду надевал старенький коричневый пиджак, – ты сказал, у тебя была сестра.

– Да, была, мы в город ушли с ней, и нас в детский дом определили. Только она недолго прожила, от тифа умерла. А через год нашла меня сестра матери, забрала. У неё своих детей не было, она меня как родного растила. Потом я в техникуме учился. Потом служил туп неподалеку и однажды на побывке познакомился с твоей бабушкой



Зарей-заряницей, – дед перестает хмуриться и обнимает Алёнку.

Они сидят, обнявшись, некоторое время.

– По мороженке? – спрашивает дед.

- 3 -

Они вдвоём едут на конике, так захотел дед. За ними на «Ладе» родители с бабушкой. Большая машина с мебелью и вещами – следом. Они проезжают в город, где живут Алёнка и её родители.

– Внучка-то у меня, такая молодая, а уже машину водит, да ещё и коника, – нахваливает дед.

– Да брось, ерунда, чего тут сложного, – отмахивается Алёнка.

– Мы теперь с тобой каждый день будем видеться, а не раз в году, – говорит дед, – я много лет об этом мечтал.

– Да, деда, я тоже очень рада, что мы будем жить все вместе, – улыбается Алёнка, – половину проехали, представляешь? Молодец коник!

– Коник ещё побегает, – добавляет дед, – правнуков покапает. Ты уже встретила своего Перю-богатыря?

– Не встретила, – отвечает внучка, – у меня в жизни ты самый главный Перя-богатырь. Я ещё диссертацию писать буду. Знаешь, о чём?

– Неужто обо мне? – смеётся дед.

– О людях-духах, которые по легендам предками коми-пермяков были, – кивает Алёнка, – о чуде белоглазой.

– Много сказок у нас про чудь, – напоминает дед, – я тебе рассказывал же? Вот про то, как она вся под землю ушла. У нас даже какие-то дни были в деревне, когда мы чудь поминали.

– Рассказывал ты мне про Перю, в основном, он явно был твоим любимцем... Ого, ничего себе ливень, – Алёнка включает дворники, – представляешь, я уже много где прочитала, что Перя – чудской богатырь, и его истинная миссия – спорожить сокровища исчезнувшего народа.

– Может, так и есть, – соглашается дед, – когда Пере пришёл час помирать, он ушёл в лес и окаменел там. Поди за ним, за этим



камнем и ешь сокровища. Вот вы на моей могилке простой камушек поставьте потом.

– Здрасьте, – сердится Алёнка, – фига с маслом тебе, а не могилка с камушком!

– Так потом, – успокаивает её дед, – когда время придёт. Нескоро же.

– Мы пистиков насобирали с мамой, – переводит тему внука, – много, и на пироги, и заготовили.

– Сто лет их не ел, – радуется дед.

– Не ври, тебе гораздо меньше, – говорит Алёнка, – пистики, оказывается, ужасно полезные... Их и как противовоспалительное средство применяют, и как общеукрепляющее и ранозаживляющее. И вообще, просто супер-волшебный он, твой хвощ.

– А то, – усмехается дед, – коми-пермяки всякую чепуху не едят.

– Они ужасно полезные, – повторяет Алёнка, – тебе непременно нужно заваривать траву хвоща, прямо пропить курс.

– Чего её пить, – возмущается дед, – её есть надо!

– Поесть и попить, – твёрдо говорит Алёнка, – и ты обязательно поправишься.

– Уж если ты сама, собирала, нылочка, то сделаю всё, что хочешь, – соглашается дед, – быд ачыс бөрйö мыйö эскыны⁹.

– Я думала, ты уже совсем ничего не помнишь на своём языке! – восклицает Алёнка, – что ты сказал?

– Мы сами выбираем, во что верить, золотой ид пусь тэ менам¹⁰, – отвечает он.

– А ты мой золотой идусь, – Алёнка быстро-быстро моргает, чтобы видеть дорогу. Дождь льёт, и коник тоже моргает дворниками.

Двое в старенькой машине едут сквозь проливной дождь и выбирают верить в то, что у них обоих и вместе впереди ещё много-много счастливых дней, таких, как этот.

⁹ Каждый сам выбирает, во что верить (коми-перм)

¹⁰ Милая ты моя (коми-перм)



СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

Свердловской областной межнациональной библиотеки

«Лучшее эссе»

Артёмова Ирина Александровна

ЗВУЧИТ РОССИЯ НАД ЗЕМЛЁЙ

Нет у Земли народов не любимых!

Взрастила всех!

И все ей сердцу милы!

Километры, километры, тысячи километров... Один пейзаж сменяется другим: бескрайние степи и таинственные горные хребты, могучие реки и тихие озёра, непроходимая тайга и цветущие сады, роскошные пальмовые аллеи и вечная мерзлота... Россия! И каждый, даже самый отдалённый уголок страны ценен, неповторим и многообразен, уникален и богат! И богатство это можно уместить в одном слове – человек! Все мы очень разные, самобытные, уникальные, единственные в своём роде! Разные, но едины по сути своей, едины Родиной одной на всех, едины в стремлении всегда быть вместе!

Наша планета наполнена миллионами звуков, рождённых как природой, так и нами, людьми. Давайте прислушаемся к тому, как звучит многонациональная Россия. Мы, не зная языков и названий музыкальных инструментов, почти безошибочно можем определить принадлежность песни к той или иной национальности. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться.

Слышите?! Вот в тишину врывается щемящий душу крик птицы. Ей вторят похожие, почти космические голоса. Они перекликаются между собой, звуча на разные лады, но сливаясь в какую-то единую цепь созвучия... Да только то не птицы кричат, и раскаты, что слышатся вдали, не громовые. Тобубны в напряженных



мужских руках чукотских мужчин сквозь туман и холодный воздух пробиваются к поющим своим женщинам, обладающим удивительными, рождающимися в глубине души голосами...Они исчезают где-то далеко, запихают так же неожиданно, как и появились. И в родившейся тишине пробивается колокольчик. Он звучит размеренно и спокойно, уводя за собой тихо ступающих во мху северных оленей.

А вот над степными прами заплакала волынка. И поплыли над бескрайней ширью чувашские песни – причаты. От них наполняются женские глаза слезами, похожими на капли упренных рос. Застылают их голоса, словно туманом, степи, уходящие за горизонт. А там, в лесах и дубравах, разливаются прелью свистульки – чипсоны, звуки которых, отпалкиваясь от озёрной глади, растворяются в поднебесье.

И в эту синюю высь упираются вековые сосны, в кронах которых рассыпались звуки кантели, сопровождающие эпические песни – руны карельского народа. Они глубоки, как тысячи озёр этого прекрасного края. Музыкальные эпосы наполнены гордостью, пвёрдостью духа мужественных людей, единением с богатой, первозданной природой. Низкие бархатные голоса сливаются с мерным шелестом листьев в лесах и дыханием ветра.

А ведь для ветров нет преград, и доносят до нас они звуки курайи с руладами куплетов – такмаков, скользящих над просторами Татарстана. И разливаются лирические протяжные песни с их пьянущейся мелодичностью над тёмными водами озера Кара-Куль. И поднимаются до Вязовской горы звуки, рождённые под умелыми руками гусяров. Волга и Кама засыпают под плач татарских скрипок...

Немного тишины...И вот там, где-то вдалеке, на бескрайних степных просторах, едва различима конская поступь и скрип повозок. Под чистым, разрисованным звёздами лепным небом, оживают костры, в языках пламени которых становятся видны люди, умеющие «вынуть душу» едва коснувшись препетных гитарных струн. И запоёт цыган о жизни и судьбе, любви и



преданности, о том, что близко и дорого каждому человеку на земле. Но вдруг музыка, вызывающая слёзы, сменяется звонкими женскими голосами, вокруг костра взметнутся цветастые юбки, и в чёрных цыганских глазах загорается страсть, а пальцы ускоряют темп... И вот уж гитара не плачет, а смеётся на все лады, будя припихшую степь.

А за тысячи километров, на берегах строгого Енисея откликается семиструнной цыганской гитаре кетский бубен. Над могучей рекой эхом разносится шаманская песня на никому непонятном языке, завораживая своей таинственностью. Слова переплетаются с тягучей, словно парящей над миром мелодией варгана древнего Енисейского народа. И кажется, что сама природа замирает, прислушиваясь к людям...

Затих варган..., но продолжается песенная сказка, живущая на берегах рек Мокша, Инсара и Сура. Многоголосье мордовского народа воспевает священное дерево – берёзу, поклонение которой передаётся из поколения в поколение. А потом наступает черёд древних мотивов о любовной магии, ритуальной краже яблока – символа плодородия и чудесных превращениях девушки в птицу. И неп конца песням – мифам мордовского народа, песням, так похожим на удивительные сказки...

И перекликаются они с журчащей, мелодичной степной и калмыкской домброй, под звуки которых рождаются песни о прекрасных конях, исторических событиях и героических подвигах. Мужские низкие голоса уведут нас в прошлые столетия, делясь с нами гордостью за своих предков.

А женщины, как и раньше, запевают за рукоделием песни о нелёгкой женской доле. И плачет вместе с ними калмыкская скрипка хур, из под смычка которой вырываются на волю мечты о счастье. И, кажется, вот-вот выступит слеза, а не! Вдруг пронзает воздух весёлая саратовская гармоника, да зазвучит задорная частушка, да пустятся ноги в пляс...

Остаются позади равнинные просторы с пшеничными полями, смотрящими на нас васильковыми глазами; утекают в далёкие дали



спокойные воды широких рек, сливаясь на горизонте с небесной синью...

Но вот на нашем пути встречаются совсем иные реки. Реки, словно падающие с высоты, бурлящие, шумные, гордо пробивающие себе путь сквозь величественные горы. Всё вокруг наполнено шумом непослушных вод, но прислушавшись, мы улавливаем пронзительное и мелодичное звучание зурны в пандеме с долем. Им вторит двухструнный тамур. Их звучание переплетается между собой подобно виноградной лозе. И вот уже воздух насквозь пропитан потрясающей, зажигательной музыкой народов Дагестана: аварцев и агульцев, даргинцев, лакцев и лезгинов. Взмывают руки, словно крылья птиц, загораются огнём страсти тёмные, как ночное небо, глаза, и увлекает за собой всякого жизнеутверждающая лезгинка.

А совсем рядом, в разогретый жаркими лучами солнца воздух врываются своеобразные резковатые звуки чеченской зурмы. Поднимаясь ввысь, они растворяются над горными вершинами, упоающими в зелени лесов, и уступают место флейте из камыша – дупре, которая переключается с мягким, шелестящим пением пондура. А в день летнего солнцестояния просыпаются свирели, воспевающие чеченского героя, принёсшего людям огонь... Отдаём ему дань уважения, замолкают свирели на целый год. И так было издавна, и будет из века в век.

Точно так же как будут русские женщины петь колыбельные своим детям. Рождаясь глубоко внутри, они наполняют всё вокруг прелепным своим звучанием. Их несложный мотив сливается с ритмом биения сердец матери и малыша и созвучен с качанием колыбели. Засыпает дитя, стихает колыбельный напев и слышим мы тихое ровное дыхание ребёнка... И нет для матери звука родней и дороже. И становится совсем не важно на каком языке поют колыбельную. Главное, что НАШИ дети мирно спят в городах и сёлах, аулах и деревнях...

Наши голоса, дыхание, биение сердец сливаются, дополняя и обогащая друг друга. Так важно слушать и слышать друг друга! Вот так и звучит Россия единым напевом, поднимающимся над Землёй.



«За искренность и психологическую глубину любовной лирики»

Бахтин Игорь Иванович

ТРЕТЬЕ СЧАСТЬЕ ШИРАЛИ

Ширали закончил работу лишь в начале двенадцатого часа ночи. Ступени подъездов и пандусы были им очищены от наледи и посыпаны песком, переполненные контейнеры в боксах под мусоропроводами он поменял на порожние, очистил урны у подъездов. «Вымыв» руки чистым снегом с капота чьей-то машины, он подошёл к подъезду и с наслаждением закурил.

Морозило. Сыпал редкий снежок. Ширали курил, задумчиво глядя на окна одинаковых высоток, в которых кое-где мерцали, меняя цвета, новогодние электрические гирлянды. Ему ужасно не хотелось сейчас идти в городок строителей, где он проживал в бытовке с четырьмя земляками узбеками. С тоской представлял он себе тесный прямоугольник бытовки, со стойким запахом пропотевших мужских тел, сырой обуви и спецовок, вечно пригоравшего плова на самодельной плите, двухъярусные полатки с отсыревающими за день матрасами и унылые лица земляков с всегдашними разговорами о родине и новостях отпуда.

После он стал думать о том, что через день наступит последний день уходящего года, и у строителей будет короткий рабочий день. А это означало, что отдохнуть не удастся, потому что его молодые шепунные соседи по бытовке, холостяки Зейнапулла и Ислам, затеют проводы старого года, приготовят на самодельной печке плов, станут пить водку и пиво. Новый год, скорее всего, поедут встречать на Невский проспект, где можно будет встретиться с земляками и многочисленными родственниками. Вернутся они под утро, культурную программу закончат вызовом проститутки. Вызовут, как обычно одну на двоих – так выходило дешевле. За занавешенным рваной простыней углом мужчины будут вскрикивать, постанывать и ругаться по-русски, и вся эта



программа закончится быстро. Приходящие женщины не скажут ни слова, придут и уйдут молча. После них в бытовке на некоторое время оставались чужие запахи, но они быстро съедались массивом сырой одежды и сушащихся носков. Когда женщина уходила, весельчак Ислам снимал простыню, и друзья укладывались спать, но ещё долго и громко беседовали и даже пели.

Летом Ширали с соседом по полатам, пятидесятилетним сварщиком Наримон, при случаях таких программ, выходили переждать на улицу, но зимой, наработавшись на морозе и, пригревшись под пряпём и одеялом, не всегда оставалось сил встать и выйти на холод.

Наримон, на правах старшинства, вначале пытался воспитывать Зейнапуллу и Ислама, отчитывал их за недостойное поведение, друзья с неудовольствием отмахивались от него. Однажды после очередного прихода женщины, у Наримона терпение закончилось. Не выдержав, он накричал на Ислама, спал попрекать его, но топ только скалил зубы, цедя: «У меня помидоры опухают, понимаешь, дядя? Я молодой, терпеть не могу. Хочешь, чтобы помидоры дынями стали и лопнули?»

Рассвирепев от наглости Ислама, Наримон закричал: «Позоришь своё имя! Ты не лучше этих грязных распутных женщин. Ты не мусульманин, потому что забыл об уважении к старшим, делаешь непотребное там, где ешь хлеб, уподобляешься псам, которые сношаются на улицах». Ширали поддержал Наримона. Стычка чуть не закончилась дракой. С молодыми земляками они теперь разговаривали только в силу необходимости.

Индустрия грязных утех в районе была хорошо оплажена и доступна. Огромная масса мужчин строителей из Средней Азии стала лакомым и доходным куском для ловких и инициативных супенёров. Начальство жилищных контор поначалу пыталось бороться, заставляя дворников очищать фонарные столбы от многочисленных объявлений типа: «К вам – к нам. 24 часа», с женскими именами и телефонами. Но борьба была неравной, и почин начальства быстро заглох. С некоторых пор появились



объявления краской прямо на асфальте, со словами «Хорошие девушки» на узбекском языке.

Ширали были отвратительны продажные женщины, не нравились ему пьющие и курящие женщины, но здесь это не считалось постыдным: по улицам пабунами ходили совсем молодые курящие девушки с бутылками пива. Сам он только изредка позволяя себе выпить банку холодного пива летом, но от сигарет отказаться не мог, стараясь курить мало, – скромный его бюджет не позволял ему, исполнять даже эти скромные желания.

Половину заработка он отсылал на родину брату инвалиду, у которого было трое детей. Жены и детей у него не было, мать с отцом умерли, с дальними родственниками он не контактировал.

К сорока годам он познал двух женщин. С первой женой, погибшей в автокатастрофе, он прожил около года, детей с ней не нашёл, со второй – прожил чуть больше трёх лет. Из этих трёх лет, год они прожили с Юлдуз в любви и радости, но следующие два года на нервах, в депрессии.

Они с Юлдуз любили друг друга, и постель их была горячей, но жена не беременела. Когда несколько экспертиз окончательно подтвердили его бесплодие, родственники жены стали сначала слёзно просить, а после потребовать развода. Он не стал пропиваться разводу, понимал горе родителей жены, лишённых радости нянчить внуков, видел муку жены, страстно мечтавшую о детях, выплакавшую свои прекрасные чёрные глаза.

Юлдуз нашли немолодого вдовца, Ширали уехал в Питер. Две боли долго не оставляли его сердце: боль потери любимой, и боль за её судьбу. Он хорошо знал, что местечковые обычаи и понятия в Узбекистане в 21-ом веке никто не отменил, а жизнь женщины вышедшей замуж не девственницей, частенько из-за этих древних понятий могла стать для неё адом. Об этом он не переставал с трепетом думать. Мука эта длилась года два, пока его Юлдуз тайком не прислала ему с верным посыльным письмо, в котором писала, что она родила двойню, и муж к ней хорошо относится. И слёзы брызнули из глаз Ширали, когда он прочёл в конце письма:



«Дорогой мой, я тебя по-прежнему люблю. Свет мой и счастье моё, ты в моём сердце жив и согреваешь мою душу. Я благодарю судьбу, что ты у меня был. Муж мой не возражал, чтобы я назвала одного мальчика твоим именем». Две женщины любили Ширали, двух женщин он любил, двух любимых женщин не дала ему долюбиться судьба, не познавшему не до них, ни после них других женщин.

Ширали работал здесь уже больше трёх лет и знал в лицо почти всех жителей высоток, к которым он был прикреплен. Основная масса жителей состояла из молодёжи, среди новых спальных районов города этот район считался спокойным и престижным, было метро, множество магазинов, школа и детские сады. После семи вечера район представлял собой огромную автостоянку, плотно заставленную иномарками. Но Ширали уже знал, что живут здесь совсем не богачи, и почти все эти машины, как и квартиры в этих домах куплены в кредит, что сюда сдвинулись люди из всей России в надежде найти в Северной столице работу, устроить жизнь.

Ширали не выдержал и закурил ещё одну сигарету. Вышедший из подъезда пожилой мужчина с пакетом мусора, улыбаясь, протянул ему руку:

– Ширали, с наступающим.

– Спасибо, уважаемый. Вас тоже поздравляю, – крепко пожал его руку Ширали.

– Слушай, друг, поменяешь мне унитаза после праздника? – спросил его мужчина.

В доме многие знали, что через Ширали можно подешевле найти работников из числа его земляков по части ремонтных работ, да и сам не отказывался от приработка. Дружил с электричеством и сантехработами, мог настелить ламинат, установить плинтусы, карнизы, шкафы. Денег не драл, работал чисто, не халтурил.

– Не вопрос. Телефон мой знает.

– Молодца. Договорились, – мужчина, хлопнул Ширали по плечу и, остановившись, улыбнулся:

– Слушай, а ты не родственник солиста «Яллы»?

– Ширали белозубо рассмеялся:



– Многие спрашивают. Все люди братья.

– Блин, похож сильно, усы такие же, рост подходящий, волосы только короткие. Хорошую песню пели они – «Три колодца». Ну, бывай здоров, с наступающим. Такую развалили спрану, подлюки.

Ширали проводил мужчину взглядом, бросил сигарету в урну, потянулся до хруста, усмехнувшись, проговорил негромко:

– Эфенди, слуги заждались тебя во дворце. Завтра в семь утра на работу.

К подъезду медленно, слегка пошатываясь, подходила женщина в шубе и меховой шапке.

– Ещё одна. Сегодня много пьяных женщин, – пробормотал Ширали с досадой, наблюдая за ней. Подняв воротник куртки, он пошёл быстрым шагом, но через несколько шагов остановился, услышав женский вскрик за спиной: женщина в шубе лежала на боку, нелепо подогнув ногу, шапка валялась в стороне. Она пыталась встать, но у неё не получалось. Ширали бросился к ней.

– Помогите встать, ради Бога. Я поскользнулась. Встать не могу, что-то с ногой, – произнесла она с вымученной улыбкой на лице. Женщина была миловидной и не старой, как ему показалось издали. Он спешивался, не зная как ей помочь. Она застонала, сама протянула ему руку, и он помог ей подняться.

– Спасибо, спасибо. Дальше я сама. Спасибо вам за помощь, – пробормотала женщина, хотела пойти, но, ойкнув, присела, схватившись за оградку.

Ширали растерянно смотрел на неё.

– Пожалуй, я не смогу подняться по ступеням. Поможете мне? – попросила она.

– Может скорую вызвать? – спросил Ширали.

– Нет, нет, встретить Новый год в больнице мне бы совсем не хотелось. Это не перелом. Мне бы до квартиры дойти. Я возьму вас под руку, не возражаете?

Ширали кивнул головой. Они медленно поднялись по ступеням, женщина прихрамывала, морщилась, наступая на левую ногу. Ширали своим брелоком открыл входную дверь, довёл женщину до



лифта и путь узнал её: около года назад он устанавливал ей карнизы на окна. Вспомнил и имя женщины – Надежда, номер её квартиры, этаж, и то, что на её кухне был портрет улыбающегося мужчины и иконы. Ему тогда понравилась эта женщина, и идеальная чистота, и порядок в её квартире. Она накормила его вкусными коплетами, и он не отказался.

Он нажал кнопку двадцать четвёртого этажа, а женщина, глядявываясь в его лицо, встревожилась:

– Откуда вы знаете мой этаж?

Но лицо её путь же прояснилось, она устало проговорила:

– Ах, да. Карнизы. Какой вы памятливыи, однако, Ширали – это так давно было. А из интернета узнала, когда вы ушли, что ваше имя означает великий лев. Уж, будьте добры, великий лев, не бросайте меня, доведите до спасительной двери.

Женщина не была пьяна, как показалось Ширали вначале, спиртным от неё веяло слегка, сильнее был запах ванили, который он жадно и с удовольствием вдыхал. Он довёл её до двери и она, улыбнулась:

– Спасибо, великий лев. С наступающим вас Новым годом. У вас, кстати, лицо запоминающееся, Ширали.

Когда за ней закрылась дверь, он не ушёл сразу, постоял, замерев, у двери. Запах женщины ещё витал рядом и он с жадностью его вдыхал. Сердце его колотилось, странная тихая улыбка проступила на лице, ему стало жарко, тело стало напряженным.

В эту ночь он был со своей Юлдуз, молодой, пахнувшей горячим хлебом из таандыра и спелой разрезанной дыней. Сон был так упоителен и реален, что он не проснулся, когда запищал будильник, но матрица раннего пробуждения, наработанная годами нелёгкой работы, включилась сама собой и он, дёрнувшись, открыл глаза. Ислам с Зейнапуллой, угрюмо переругиваясь, завтракали вчерашним пловом. Наримон уже ушёл.

Ширали быстро оделся, выскочил из бытовки и с удовольствием вдохнул свежий морозный воздух. Непронутый снег скрипел под его ногами, он шёл быстро, в голове проносились обрывки сна, и улыбка



оживляла его лицо.

Он любил снежные дни и свою работу. Мог, как и большинство его земляков, пойти работать строителем, эта работа ему была хорошо знакома, и платили бы там больше, но он держался за своё место; оно позволяло выкраивать редкие часы уединения, когда он мог спокойно один на один, с подругой лопатой, в одиночестве, убирать снег, думать, перекуривать, когда захочется, наблюдать за людьми, а не мёрзнуть в продуваемых холодным северным ветром бетонных «этажерках».

Он вдруг вспомнил вчерашнюю встречу с Надеждой. Думая о ней, вспомнил её запах ванили и улыбнулся: ванилью, мёдом и кардамоном пахла его первая жена Солмаз, великая искусница, баловавшая его и соседей неисчислимыми видами восточных сладостей. Уже работая, он ещё несколько раз вспомнил Надежду.

До обеда он чистил снег, с ним здоровались жильцы, и ему это было приятно. В обед он зашёл в комнату отдыха для персонала, заварил чай и отобедал «Дошираком», залив в него лечо из банки. За чаем он опять вспомнил Надежду и ему подумалось, что возможно она не может выйти из дома, а ей что-то нужно. Он не спал звонить, а набрал номер её квартиры на домофонном щитке. На её быстрое: «Слушаю», он, прокашлявшись, поропливо проговорил:

– Это Ширали, помните... вчера?

Надежда рассмеялась:

– А, великий лев. Ещё раз благодарю вас за помощь...

– Я хотел спросить, как нога... я могу в магазин сходить, если надо... что-нибудь помочь, – не дал ей договорить Ширали.

– Спасибо. Это растяжение. Перетянула голень эластичным бинтом, пью обезболивающие. Удосужилась сходить в магазин, благо он рядом с подъездом. С утра зажеяла варить холодец. Спасибо вам ещё раз.

– Тогда нормально, – сказал Ширали, и, не зная, что сказать ещё, повторил, – тогда нормально.

Надежда рассмеялась:

– Вообще-то не совсем нормально, но, слава Богу, не смертельно.



Счастливого Нового года, Ширали, извините, у меня вода выкипает.

Она повесила трубку, а Ширали ещё несколько секунд стоял у двери. Он вспомнил сейчас, что у Надежды глаза такие же, как у его первой жены Солмаз – зелёные.

Тридцать первого декабря у работников жилконторы был короткий рабочий день и небольшой скромный сабантуй с шампанским в комнате дежурного администратора. Не зная, чем себя занять, Ширали после четырёх дня поспригся и побрился у земляка умельца, принял душ, переделся в чистое бельё, походил по магазинам, побаловал себя банкой пива и сухариками, купил освежитель воздуха, собираясь распылить его в бытовке.

Он умышленно птянул время, ожидая ухода Зейнапуллы и Ислама, которые должны были уйти праздновать к своим наманганским землякам, упрям они хвалились, что будет шашлык из баранины. Уже стемнело и похолодало, он продрог и вернулся в бытовку. Наримон был в костюме, он собирался праздновать Новый год у своих дальних родственников, живших в Питере, Зейнапулла с Исламом, к его удовольствию, уже ушли.

Он остался один, включил телевизор и лёг на лежак, но его смотрел недолго: холодной змеей вползла в него тоска, сдавила сердце. Пустыми, слепыми глазами он смотрел в одну почку, с пронзительной остротой ощущая на сердце холодную сталь одиночества, гнетущую беспросветность и бесцельность своего жалкого существования, крах надежд и желаний, стремительный бег времени, неизбывность боли потери любимых. Он уткнулся лицом на подушку и, не сдерживаясь, зарыдал. После впал в дрёму и заснул.

Проснулся он под грохот фейерверков в двенадцатом часу. Чувствуя себя разбитым и опустошённым, он бесцельно посидел, опустив голову на грудь. Думая о долгой бессонной ночи, о встрече с гогочущими пьяными Зейнапуллой и Исламом, он вспал и, пробормотав по-русски: «Напьюсь», оделся.

Купить водку после одиннадцати не было проблемой: в ночных магазинах работали его земляки. Он спрятался от ветра в какой-



по нише и собрался отвинтить крышку бутылки.

Его остановил телефонный звонок, номер был не знакомый. Услышав Надеждино: «Доброй ночи, великий лев», он от неожиданности выронил бутылку и она разбилась. Непроизвольно в голове мелькнуло: «Аллах остановил». Спазм перехватил горло, он что-то промычал в ответ нечленораздельное.

– Хотела ещё раз поздравить участливого человека с Новым Годом и пожелать ему здоровья. А как вы справляете праздник? – сказала Надежда.

Ширали, помявшись, сказал:

– Нормально. Спасибо. Все ушли. Я один.

Надежда ответила не сразу:

– Как? Один празднуете?

– Нормально, – запнулся Ширали, не зная, что ещё сказать, а говорить ему ужасно хотелось, он повторил, – нормально.

Надежда рассмеялась.

– У вас это присказка такая – нормально? Что-то мне подсказывает, что не всё у вас нормально. Отчего голос грустный? А почему вы один? У вас столько земляков здесь...

Ширали неожиданно для самого себя сказал:

– Я уже привык так. Третий год уже так. И осёкся, сообразив, что вышло, будто он жалится женщине. Это он всегда считал неправильным для мужчин, и добавил, бодрясь:

– Нормально. Всё нормально.

Но вышло у него это безрадостно.

В повисшей долгой паузе, он слышал в телефоне музыку.

– А знаете, что, великий лев. Давайте нарушим эту нехорошую традицию и привычку. Приходите ко мне. У меня, как и у вас, по странному жизненному совпадению, уже третий год всё, м-мм, нормально. До чего же близко это слово! Что-то среднее между «хорошо» и «так себе». На часах половина двенадцатого. Президент вот-вот станет поздравлять страну с праздником. Приходите.

У Ширали перехватило дыхание, он выдохнул:

– Неудобно это, да...



– Отчего же? Что же здесь неудобного? Я одна. Составьте мне кампанию. Адрес вы знаете.

Ширали влетел в магазин ппичей. Схватил с виприны коробку «Рафаэлло», подумав, взял ещё коробку конфет «Коркунов», бросив юнцу-узбеку за кассой:

– Эй, болам¹, шампанское нормально давай. В пакет всё положи нормально.

Парнишка ухмыльнулся:

– Сладкий или сухой, ота²?

– Мокрый. Ты меня подкальываешь, да? – пробурчал Ширали, – сладкий давай.

К дому Надежды он бежал. В лифт влетел, но у двери Надежды остановился. Попытался перевести дух, успокоиться, сердце колотилось, но не от бега, а от каких-то неизъяснимых сладостных предчувствий и радости, но это были не похотливые грёзы: он радовался, что сбежит от одиночества, будет говорить с живым человеком. Рука дрожала, когда он нажал кнопку звонка.

Надежда была в длинном тёмно-синем платье, рядом с ней витал запах ванили. Ширали заметил бинт на голени, из кухни был слышен голос Президента, поздравляющего страну с праздником. Он суетливо достал из пакета конфеты, пропятил коробки Надежде:

– Вам.

– Зачем же вы трапились? Это совершенно не к чему было, – укоризненно покачала головой Надежда.

– Нормально, нормально, – улыбнулся Ширали.

Надежда рассмеялась:

– Раздевайтесь, вот тапочки, мойте руки, мы можем проворонить приход Нового года.

Из комнаты вышла сямская кошка, подошла к Ширали, потёрлась о его ногу, он присел и, улыбаясь, погладил её.

– Надо же! – удивлённо произнесла Надежда. – Она вас признаёт. Это совсем не в её стиле. Она и хозяйку иногда игнорирует.

¹ Болам – сынок (узб.)

² Ота – отец (узб.)



В ванной ноздри Ширали затрепетали от ощущения свежести и чистоты, он жадно уткнулся лицом в полотенце и долго вдыхал его запах.

Шампанское он открывал под бой курантов и, полыхавшие за окном, фейерверки. Надежда подняла свой фужер, лицо её было серьёзно:

– Я поднимаю свой бокал за то, чтобы этот год стал для всех людей счастливым. В самом деле, человек должен быть счастлив, без этого жизнь теряет яркость. Попросите любого вспомнить счастливые мгновения жизни, что он первым делом вспомнит? Детство! За ним первую любовь, рождение ребёнка, а после у большинства произойдёт заминка и рыпье в памяти. Он их найдёт, эти радости, но они будут иметь совсем другой вес, на весах жизни.

Человек, как дерево – с годами обрастает корой невзгод, забот, обид, разочарований, потерь, болезней, грехов, через которую уже с трудом проникают лучи счастливых озарений. Но он хочет счастья, он всегда помнит свои счастливые дни или часы. Стремительно пробегает год, и люди с надеждой говорят друг другу: с Новым годом и с новым счастьем. С Новым годом, Ширали, и с новым счастьем.

Ширали, жадно глядя в зелёные глаза Надежды, заметил в уголках этих прекрасных глаз неумолимую и грустную примету спарения – «гусиные лапки». На пост Надежды, в котором он не всё понял, потому что, больше любовался ею, чем вникал в слова, он ответил, зардевшись:

– И вам тоже.

Пригубив шампанского, он спрятал руки под стол, стеснительно оглядывая кухню.

Надежда засуетилась. Кладя ему на тарелку салат, быстро проговорила:

– Я пожарила отбивные, но они, извините, из свинины. А вам, знаю, это запрещено религией. Ешьте нейтральную ко всем верованиям курицу. К ней соус берите, пробуйте грибы, рыбку.

Ширали стал есть салат и неожиданно рассмеялся.

– Я анекдот расскажу?



– Нормальный? – рассмеялась и Надежда.

– Нормальный. Один раз Ходжа Насреддин долго шел, и он был сильно голодный, у него хурджин пустой был. У речки русский поп сидел. Он сидел, кушал. У него на полотенце был сыр, хлеб и сало. Ходжа сказал ему: «Привет, поп», рядом сел, помолился: «Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим», это, как у вас, – слава Богу, и спал кушать. Поп молчал. Они оба голодные были. А когда, они всё съели, поп сказал: «Ты же мусульманин, вам нельзя с неверными кушать. А ты ещё сало кушал». Ходжа тогда сказал: «Э-э-э, дорогой, когда человек голодный, не имеет значения верный-неверный». При последних словах Ширали расхрабрился, вошёл в роль, скопировал азиатский говор и даже взмахнул руками, пуп же покраснев.

Надежда залиvistо расхохоталась.

– Ишь, какой вы юморист и рассказчик, однако. И неплохо говорите по-русски. К вашему анекдоту можно прилепить нашу русскую поговорку: голод не пётка.

– У нас соседи русские были, мы дружили. Я в армии в Вологде служил, – сказал Ширали.

Он иногда поглядывал на портрет улыбающегося мужчины на стене за спиной Надежды, ему очень хотелось узнать, кто это, но он понимал, что это может быть неприятно Надежде, что они мало знакомы, чтобы он мог задавать такие нескромные вопросы. Он долил шампанское в фужеры и поднялся.

– Я скажу, да? – сказал он и сразу продолжил, – знаете, все люди говорят, что у них всё нормально. Они, как у них пуп болит (Ширали постучал себя по сердцу), не говорят. Зачем другим настроение портить, да? Себе тоже. Если будет рассказывать, где болит, почему болит, люди не будут с такими общаться. Так живут все. Хорошо, когда друг есть. Когда нет, – кому расскажешь своё горе? В аптеке счастье не продают, в магазине тоже, да? Человек сам себе лекарство придумал, говорит: нормально, нормально, нормально. Когда один – плачет. Вы тоже, наверное, всем говорите: нормально, да? А я вижу, у вас здесь болит! (Он опять показал на сердце) А вы хорошая, смелая такая, красивая. У вас горе есть. Я



вижу... глаза такие. Я, знаете, хочу, чтобы у вас в жизни было не нормально, а очень нормально, даже не очень нормально, – хорошо, отлично, чтобы было. Вы хорошая, Аллах и ваш Иса вам помогут.

Он, покраснев, выпил стоя до дна и сел за стол, погрузившись лицом, положил руки на колени.

Надежда слушала его, не сводя с его лица внимательных глаз, она пригубила шампанское, повернулась к портрету и долго смотрела на него. Повернулась она к Ширали с печальной тихой улыбкой и повлажневшими глазами, молча положила ему в чистую тарелку кусок куриной грудки, вздохнув, проговорила:

– Спасибо, добрый человек и ясновидец за пожелания. И ешьте, ради Бога, не спешайтесь, я же вижу, что вы голодны. Вы часто поглядываете на портрет за моей спиной. Это мой муж Андрей. Он умер. Умер на моих руках. Спрашно умирал, долго... рак.

Быстрым движением ладони она провела по побледневшему лицу, будто смахивала с него паутину воспоминаний и продолжила, бесцельно перебрав салфетку:

– После одной моей операции, мы перестали ждать ребёнка. Собирались усыновить мальчика, но на нас обрушилось время болезни моего Андрюши, долгое время лечения, а после короткого времени надежд, время горькой реальности. А я осталась жить. Как я жила? Жила в ночи без рассвета. Из родственников у меня осталась в живых только тётя, сестра матери. Она меня старалась поддерживать. Я приходила домой и разговаривала с портретом мужа, ходила на кладбище и... плакала, плакала, плакала, а слёзы не приносили мне облегчения. Люди говорили, что обычно боль упраты дорогого человека на втором году припуляется, но ничего этого у меня не произошло. Я возвращалась в квартиру, а там всё, всё, всё, говорило об Андрее, и я плакала....

Ширали, не отрываясь, смотрел на Надежду, а она остановилась, устало сказав:

- Я своим рассказом порчу вам аппетит.
- Я всегда мало ем, – сказал Ширали.
- При вашей-то адски тяжёлой работе? – покачала укоризненно



Надежда, – Ешьте, Ради Бога. Не стесняйтесь. Я не буду больше о печальном.

Ширали стал есть, глядя в тарелку, он тихо спросил:

– Муж здесь умер, да?

– О, неп. Мы в Чите жили, это далеко от Питера, – Надежда смотрела в окно, за которым ярко вспыхивали и быстро гасли разноцветные звёзды фейерверков. – Я продала дом и улетела сюда со своим спропивым котом, меня позвала одноклассница, вышедшая здесь замуж. Думала, сменю пейзаж, стану по музеям, набережным ходить, встречу новых людей, но вместо этого ещё целый год проплакала, тоскуя по улочкам родной Читы, оставленном без обихода последнем приюте моего Андрюши. Спала думать, что бросила его, стало стыдно. Я запаниковала и решила вернуться домой. Я экономист, работу здесь нашла быстро и с хорошим заработком, но ни с кем на работе не сошлась, не подружилась. В отпуск я полетела в Читу, заплакала у Андрея на могилке, знакомые говорили со мной с какой-то обидой и завистью, мол, живёшь в раю, в столице. После того, как тётя Пелагея сказала мне, чтобы я бежала из Читы, что всё здесь плохо, я вернулась в Питер. Неп, лучше на сердце у меня не стало, но как-то устаканилось, стерпелось, сжилось, живу тихо, хожу теперь по музеям, работаю, обживаюсь, плакать стала меньше...а как вам Петербург, вам зимой, наверное, плохо. Посещали музеи?

Ширали опять глянул поверх головы Надежды на портрет её мужа, думая: «Он красивый был. У неё жизнь как у меня почти. Наверное, во сне с мужем встречается, говорит с ним. Плохо одному быть», он сказал:

– Мои земляки шутят. Говорят: хороший город Питер – воды много.

– Понимаю, понимаю, ваш сарказм. На чужой стороне и сокола зовут вороною, говорят русские люди.

–А у нас говорят, лучше на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном. Мир сейчас перевернулся, все бегут туда-сюда. Все поропятся. Где был? В мечети, в вашей церкви самой большой



был, на лодке катался. Времени нет. Знаете, кто уедет из родного дома, если всё хорошо? Жить все хотят...

– Да, да понимаю. На востоке у людей всегда уйма родственников, родственники – святое. Скучаете, наверное.

Ширали было очень хорошо и уютно, он будто попал в волшебное царство, где прекрасная хозяйка попчует желанного гостя, ухаживает за ним. Ему вспомнилась ещё одна узбекская поговорка, которую любил повторять его покойный отец. Хипро поглядывая на жену, он говорил: «Мужчину прославляет или конь, или (здесь отец всегда делал многозначительную паузу), или жена!» Говорил он это обычно после сытного обеда. «Не то ты бы мне говорил, если б плов пригорел», – отвечала ему всегда мать. Воспоминание высветило на лице Ширали тихую улыбку. Единственное, что сейчас действительно мучило его – это то, что невыносимо хотелось курить, но он не мог этого сказать Надежде. А Надежда вдруг, будто угадав, сказала:

– Если вы курите, можете выйти на балкон, там есть пепельница. Сама не курю, но к курящим терпимо отношусь. Только приоткройте окно, а я пока приберусь здесь, и мы будем пить чай.

Ширали курил на балконе, смотрел на светящиеся окна домов, представляя себе радостно встречающих Новый год людей, весёлый смех детей у новогодней ёлки. Когда он вернулся в кухню, на столе стоял фарфоровый чайник, на блюде порт, в хрустальную вазочку Надежда высыпала конфеты, она оставила на столе холодные закуски. С удовольствием оглядывая стол, Ширали сказал:

– У нас ещё говорят: тому, кто тебя накормит один раз, кланяйся сорок раз...

Надежда всплеснула руками:

– Как же близки чаяния и мораль совершенно разных этносов и религий! А у нас говорят: спаси бог того, кто поит да кормит, а вдвое того, кто хлеб-соль помнит. Только злые люди всё время пытаются поссорить людей, вбить клин между простыми людьми. Ширали, я выключу телевизор? Этот новогодний шабаш может свести с ума.



– Я телевизор не люблю. Они обманывают. Сейчас все обманывают. Он замолчал.

– Вам чая покрепче? – спросила Надежда, он кивнул головой и пододвинул свою чашку. Разросшийся внутри него нарыв непроговорённой боли, сердца, измученного молчанием, поски, претребовал выхода, он жаждал жалости, понимания, отпызыва, ему думалось, что эта женщина, хлебнувшая горя, должна понять его. Это был чистый и зудящий позыв. Надежда ему нравилась, нравилось её жилище, порядок и запахи, но он сейчас не думал о каком-то продолжении этой неожиданной встрече, он понимал, что Надежда ни имеет ничего общего с теми весёлыми женщинами, которых он видел часто на улице, многие из которых смело отвечают многозначительными улыбками на липкие взгляды мужчин и он заговорил быстро и горячо. Надежда вскинулась, жадно глядя в его большие чёрные глаза.

– У меня было две женщины, – начал он, – моя Солмаз и моя Юдуз. Они меня любили. Их я любил...

Он сбился, покраснел и не в силах остановиться, будто боясь, что ему не дадут этого сделать, он на одном дыхании поведал Надежде всю свою жизнь. Когда рассказ был окончен, на лбу у него выступили бисеринки пота. Подрагивающей рукой он поднял чашку, выпил остывший чай до дна, и заключил: то ли вопросительно, то ли саркастически:

– Нормально, да...

Надежда смотрела на него застывшим пристальным взглядом, на её щеках вспыхнул румянец, она пряхнула головой, будто спряхивала наваждение и тихо произнесла:

– Ширали, Ширали, Ширали, сколько ж в этом мире сейчас измученных и изломанных жизнью мужчин и женщин! Сколько их одиноких и бесприютных! Но вы не несчастны – у вас было то, чего у миллионов людей не было – радость и счастье, что вас любили и вы любили. Как же мало людей, которые познали это блаженство! Знаете, к какой формуле пришла я совсем недавно, думая о потере любимого мужчины? Я сказала, глядя на портрет мужа: «Слава Богу,



что ты у меня был!» Вы хороший, честный человек, благородный, жалостливый не сделавший никому горя. Я рада, что познакомилась с вами. Хорошо иметь такого друга сказали. Правда, без друга худо жить.

Ширали сидел, опустив голову, когда он поднял её, в глазах стояли слёзы.

– Ну, ну. Нормально, нормально, – улыбнулась ему Надежда.
– Давайте я вам горячего чаю налью. И торт, пожалуйста, попробуйте.

Они пили чай, ели торт молча. Допив чай, Ширали глянул на настенные часы, было начало четвёртого. Он вспал, проговорив:

– Спасибо сорок раз Надежда. Вам отдышаться нужно.

Надежда молчала. Тушуясь, он вышел в прихожую и спал одеваться. Надежда вышла его провожать. Они стояли друг против друга. Она протянула ему руку:

– Звоните мне, великий лев.

Он нежно взял её руку в свою, нежно, будто боялся повредить, и неожиданно, упав на колени, не отпуская её руки, осыпал эту руку поцелуями. Ошеломлённая Надежда, не отдернула руку, она молчала, глядя на него повлажневшими, расширившимися глазами, а он порывисто проговорил:

– У меня два счастья было в жизни. У вас говорят: Бог при любит. Надья, Надья, Надья, азизим³ Надья, ты – третье счастье. Не одна пыль на тебя не упадёт со мной, знаешь? Я буду, как великий лев! Я знаю, Аллах меня к тебе привёл, ваш бог не спорил с ним. Они нормально поняли друг друга.

Он отпустил руку Надежды, поднялся, лицо его было строго.

– Спокойной ночи, мехрубоним⁴. Спи хорошо, – проговорил он.

Он ушёл, не оглянувшись. К бытовке он бежал. В ней горел свет, Зейнапулла и Ислам уже вернулись домой. Ширали влетел в бытовку с сияющим лицом. Кинулся к опешившему лопухому Зейнапулле, схватив его за уши, расцеловал его в обе щёки, ударил по плечу

³ Азизим – дорогая, любимая (узб.)

⁴ Мехрубоним – дорогая, любимая (узб.)



Ислама, проговорив весело:

– Эй, земляки мои дорогие, с Новым годом, земляки, с новым счастьем. Иншааллах⁵, он будет хорошим.

Друзья переглянулись. Ислам хохотнул:

– Нормально ты обкурился, земляк.

– Обкурился? Да, да, старый Ширали, малыши, обкурился. Счастьем обкурился, – расхохотался Ширали. Он упал на лежак, закинул руки за голову, счастливо улыбаясь, сказал:

– Нормально. Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим.

⁵ Иншааллах – Если пожелает бог (узб.)



«За литературные аллюзии»
Стасина Наталья Випальевна

ЕНЭШКА РИСУЕТ

Маленькая Енэшка¹, прикрывая нос ладошкой, глядела вверх. Тёмное небо, словно зная, что им любуются, спарательно сверкало алмазной крошкой. В чёрных глазах девочки отражались яркие холодные звёздочки. Полярная ночь властвовала уже вторую неделю.

– Смотри, Понька², – обратилась Енэшка к лежащей рядом собаке, – какая сегодня красота.

Но лохматый Понька не разделял восторга маленькой хозяйки. Он свернулся клубочком, упкнув заиндевшую морду в тёплый живот. Девочка оглянулась вокруг, ища, кому бы ещё показать небесную красоту. Нет никого... Олени не в счёт: они всё равно ничего не поймут. Вот Понька мог бы понять, но он замёрз и не хочет наверх смотреть.

– Енэшка, заходи, – позвала мама. – Поздно уже.

– Мам, я чупочку ещё погляжу.

– Нет, сегодня очень холодно, иди домой.

Енэшка потрепала Поньку за ухо и вошла в чум. Внутри тепло. Ярко горит огонь в очаге. Сняв малицу и пимы, девочка села у очага. Мама сидела неподалёку и вышивала узор на сумке.

– Ну, правда, мам, там такие яркие звёзды!

Мама молча продолжала работать, словно не слышала слов дочери. Енэшка вдохнула и начала расстилать постель. Немного погодя она лежала на мягкой перине и мечтала вслух:

– Вот бы взять несколько звёздочек и расшить ими наши малицы! Нам бы ночью всегда-всегда было светло. И почему всё волшебство перевелось? Мам, а расскажи сказку про сестёр.

Мама улыбнулась:

¹ Енэшка – от енеж (коми яз.) – небо

² Понька – от пон (коми яз.) – собака



– Опять? Я ведь рассказывала уже.

– А я ещё хочу послушать.

Мама отложила в сторону шитьё, подбросила в огонь сухих веток и под тихое потрескивание начала рассказывать:

– Давным-давно на нашем Севере не было таких холодов, как в нынешнее время. Лето в те времена наступало раньше и покидало эти края позже. Жили тогда две сестры – Ижель³ и Шоныть⁴. Обе они были королевами, обе правили на Земле. По заведённому древнейшему порядку им отводилось одинаковое время для правления. Полгода царствовала невозмутимая холодная Ижель, затем наступало время доброй Шоныть.

Конечно же, все люди и звери больше любили Шоныть, ведь с её приходом мир наполнялся теплом, светом и цветочным благоуханием. А по-другому и быть не могло: Шоныть дружила с Солнцем, Дождём и тёплым Ветром.

Ижель предпочитала совсем иных друзей. Ей нравилось взбивать снежный кокпейль со Снегом, не забывала она приглашать в гости старую Пургу и всегда радовалась, когда в её ледяные чертоги заглядывал Мороз. Да, разные были сёстры, но жили они друг с другом дружно и никогда не ссорились.

Многие годы установленный порядок не менялся. Но однажды Ижель заметила, что во время её правления многие звери прячутся в норах, а люди редко выходят из тёплых жилищ. Очень расстроилась и обиделась Ижель. Решила она найти себе место, где никому не будет мешать холод, и где власть её будет безграничной.

Блуждая по всей земле, нигде не могла Ижель найти себе подходящего места для жилья. Но однажды забрела она на самый краешек света и захотела остаться там навсегда. Ижель позвала всех своих друзей и предложила им поселиться рядом. «Вот путь, на краю земли и будет наше царство – Север, – сказала Ижель друзьям. – А чтобы нам не было скучно, давайте позовём кого-нибудь из зверей».

³ Ижель – от йъжоль (коми яз.) – сосулька

⁴ Шоныть – от шоныд (коми яз.) – тёплый



Мало кто из зверей согласился жить под вечной властью королевы холода. Зато тем, кто любил Ижель и пришёл вслед за ней, она в благодарность подарила тёплые белые шубы, в которых не страшна была любая стужа.

Первым же делом Ижель приказала Морозу покрыть льдом всё Северное море, а сама тем временем осветила тёмное небо мерцающими серебряными звёздами. Спаруха Пурга, взмахивая клюкой и пряся снежными лохмотьями, замела все кусты. Снег приготовил для такого дела необычайно крупные и пушистые снежинки.

Очень нравились королеве и её друзьям новые владения. Всё вокруг было белым, холодным и величественным. Северные олени любили подолгу смотреть вдаль, гордо покачивая тяжёлыми рогами. Куропатки и зайцы играли друг с другом в прятки, зарываясь в снег. Белые медведи капались с горок, а песцы хвостами наметали сугробы. Иногда Ижель приглашала в гости сестру, и тогда Солнце, повсюду сопровождавшее Шоныть, спешило поздороваться со всеми обитателями Севера.

Прошло какое-то время, и в одно морозное утро пришли к Ижель звери и попросили выслушать их. «Ижель, — сказали они, — нам нравится здесь жить. Ты дала нам тёплые шубы, простор и спокойствие. Но настала пора растить детей, а без твоей сестры мы не сможем этого сделать. Без тепла, солнца и свежей травы это будет невозможно».

Ижель не смогла отказать зверям, которые согласились жить в её царстве. Она позвала Шоныть, чтобы составить новый договор. Сёстры решили, что на Севере Ижель будет полновластной хозяйкой, но три месяца в году Шоныть будет дарить тепло всем, кто живёт в этом краю.

— Но ведь три месяца — это же очень мало! — воскликнула Енэшка.

— Конечно, мало, — согласилась мама, — но зато Шоныть попросила Солнце светить в это время и днём, и ночью. Представляешь, как радуется природа в эти летние месяцы? Да ты



и сама прекрасно всё это знаешь. Вспомни, как быстро здесь расцветают цветы, распускаются цветы, даже успевают созреть ягоды... Это был настоящий царский подарок, и все животные были благодарны своей правительнице Ижель. С тех пор всё так и осталось. Вот и вся сказка. А пеперь — давай-ка спать.

Енэшка нырнула под одеяло. Ей стало грустно, что сказка закончилась так быстро. Закрыв глаза, она представила себе сестёр. Как они выглядят? Ижель, должно быть, высокая, стройная и с холодным взглядом. А Шоныть наверняка хохотушка и у неё в волосах цветочек. И хоть Ижель не вредная, только всё равно очень жаль, что на Севере ночь длится так долго. Могла бы ещё что-нибудь придумать для своих жителей, чтобы им было чуточку веселее.

Девочка привычно сунула руку под подушку и достала коробочку с непрозрачными красками. В темноте краски светились красивым неоновым светом. Их Енэшка получила год назад в подарок от своей мамы. Мама рассказала, что именно эти краски давным-давно ей вручила на день рождения её мама... В течение многих лет краски передавались от мам к дочкам. Откуда они появились, в их семье никто уже не помнил. Но самое интересное заключалось в том, что краски эти были волшебными. Так сказала мама. И рисовать ими на обычной бумаге запрещалось, иначе они могли попортить свои волшебные свойства. Какие-то свойства, если они бывают только в сказках? Мама не знала, ей в детстве не рассказывали об этом.

И если сказать честно, Енэшка была расстроена. А кто бы не расстроился? Краски, кисточки и бумага есть, а рисовать нельзя. «Сколько же можно перепеть? — нахмурилась девочка, любящая сияющим сокровищем. — Всё, завтра нарисую яркую радугу во весь альбом, а то всё темно да темно целыми днями! Раз краски сами по себе светятся, значит и от рисунка должно быть хоть чуточку светло». Размышляя о такой несправедливости, она не заметила, как уснула...

— Енэшка, — услышала девочка сквозь сон чей-то тихий голос.



Енэшка открыла глаза и увидела двух девушек. Они стояли посередине чума, держались за руки и улыбались. Одна девушка сделала шаг вперёд и представилась:

– Меня зовут Ижель, а это – моя сестра Шоныть. Твоя мама часто рассказывала тебе о нас, а теперь мы сами пришли.

– Как? Это и в самом деле вы? – удивилась сонная Енэшка.

Она села на постели, натянула тёплое одеяло-ягушку⁵ до подбородка и принялась недоверчиво разглядывать сестёр. Девушки были очень похожи друг на друга, словно близняшки. Зато их наряды полностью различались.

Шоныть была одета в блузку солнечного цвета и пышный зелёный сарафан. Низ сарафана украшали цветки душистых роз, магнолии, пионов и ирисов; ближе к поясу ткань была усыпана нежными незабудками, колокольчиками и другими мелкими соцветиями. По всему подолу, прямо из-под цветов, светились крупные завитки, вышитые лучистой нитью. На длинных распущенных волосах Шоныть поблёскивали мельчайшие капельки росы, а в ушах покачивались лазуревые серьги.

Енэшка перевела взгляд на Ижель. Девушка стояла в лёгком струящемся платье из тончайшей ткани, сотканной Метелью. Снежинки разных размеров беспорядочной россыпью покрывали весь наряд, а вставки королевского синего цвета на подоле и рукавах излучали мягкий свет. Поверх платья Ижель накинула короткую снежную шубку. На голове Ижель, как у настоящей королевы, переливалась всеми оттенками синего цвета небольшая диадема. Хрустальные льдинки-серёжки, видневшиеся из-под густых локонов, мелодично звенели при каждом движении девушки.

– Вот это да, – выдохнула, восхищённая красотой сестёр, Енэшка. – Но я всё равно не могу поверить, что вы – это вы.

Ни слова не говоря, Ижель провела рукой по своему платью и собрала полную ладонь пушистого снега, а затем пропнула его

⁵ Одеяло-ягушка – ягушка – женская одежда из меха оленя, которая служила так же и одеялом у северных кочевых народов



своей сестре. Не успела Шоныць переложить снег в свою руку, как он растаял и ручейком побежал вниз. Ижель подхватывала прозрачные капельки, и в её ладошках они сразу же превращались в маленькие голубые льдинки. Ижель подошла к девочке и показала ей заледеневшие капельки.

– Ой, так они совсем не холодные, – удивилась Енэшка, разглядывая льдинки. – Они превратились в камешки?

– Да. В мои любимые сапфиры. Возьми их себе на память, – ответила Ижель.

– Но мы пришли к тебе не просто так, – произнесла Шоныць. – Кажется, ты недавно грустила, что на свете больше нет волшебства?

– А я теперь даже не знаю что и думать! Получается, что есть? – растерялась Енэшка.

– Вот сейчас всё и узнаешь. Одевайся и выходи к нам наружу. И не забудь захватить с собой краски и кисть.

Гостьи вышли, а Енэшка стала быстро одеваться. Мама крепко спала. Даже удивительно, что она не проснулась. Стараясь не шуметь, чтоб не разбудить маму, девочка отогнула полог и шагнула из тёплого чума в холодную ночь. Звёзды на небе всё так же ярко блестели, худенький месяц радовался ясной погоде. Понька вилял хвостом, как юла крутился под ногами Енэшки и даже иногда поднимал морду к небу. А олени всё так же невозмутимо смотрели вдаль.

– Ну что, хочешь узнать, почему мы пришли к тебе? – спросила одна из сестёр.

– Конечно! – воскликнула Енэшка.

– Мы знаем, что у тебя есть волшебные краски и тебе не терпится ими порисовать.

– Да, но мама сказала, что тогда все их волшебные свойства пропадут, – расстроено произнесла девочка.

– Вот поэтому мы здесь. По-моему, ты хотела нарисовать радугу? – улыбнулась Шоныць.



– Рядом с вашим жилищем, – добавила Ижель, – есть очень хорошее место для первого рисунка.

Она поманила рукой месяц, и потоп спустился пониже, чтобы осветить всем путь. Ижель пошла первой, все остальные двинулись за ней. Снег капился маленькими вихревыми клубочками вслед за Ижель, подтаивал под лёгкими шагами Шоныть, хрустел под ногами Енэшки и продавливался под лапами радостного Поньки. Неподалёку от чума Ижель остановилась.

– Вот здесь, – указала она на ровную снежную гладь, – можно рисовать.

Откуда-то из сугроба вынырнул песец и хвостом стал быстро размётывать снег в разные стороны. Когда он окончил работу, Енэшка увидела перед собой ледяную поверхность. Это было небольшое озеро, в котором летом любили плавать уточки. Шоныть присела и дотронулась ладошкой до льда. От её прикосновения образовалась небольшая лунка, наполненная водой.

Енэшка достала краски, обмакнула кисть в воду и начала на прозрачном ледовом полотне рисовать радугу. Волшебные краски ложились плотным слоем и излучали неяркий свет. Девочка рисовала с большим удовольствием. Через несколько минут все залюбовались готовым рисунком. Неудивительно, ведь даже воздух над ним искрился всеми цветами нарисованной радуги.

– Ух, какая красота! Вот бы маме показать! – Воскликнула маленькая художница, но тут же расстроилась. – А ещё у меня папа в соседнее стойбище к брату уехал. Жаль, что они ничего не увидят.

– Ну почему же не увидят? С этого момента волшебные свойства красок проявятся в полной мере, – сказала Ижель.

Сёстры о чём-то пошептались и начали действовать. Шоныть вытянула из завипка на платье лучистую нипочку и бросила её на рисунок. Тёплый лучик растопил лёд, и краски постепенно начали смешиваться. Теперь пришла очередь второй сестры. Ижель хлопнула в ладоши, и в руках у неё появился ледяной хорей⁶. Не

⁶ Хорей – длинный деревянный шест, которым погоняют оленей



давая краскам раствориться в воде, она ударила хореем по цветным разводам.

В тот же миг в ночное небо взметнулся фонтан мелких искрящихся кристаллов и рассыпался между звёздами. Кристаллы двигались, переливались, сияли, собирались вместе и отпалкивались друг от друга. Все смотрели на радужные волны посреди тёмного небесного океана и не могли оторваться от прекрасного зрелища.

— А кто-то говорил, что волшебства больше нет, — мечтательно произнесла Ижель и повернулась к сестре. — Получается, именно Енэшка стала настоящей хозяйкой волшебных красок, ведь именно ей захотелось сделать что-то хорошее для всех жителей Севера.

Взяв Енэшку за руку, она продолжила:

— Теперь, в тёмные полярные дни, ты можешь доставать заветную коробочку и рисовать. Будешь хоть немного радовать всех обитателей моего царства дивными сполохами. И запомни: лучше всего рисовать на ледяной поверхности, только тогда краски будут отдавать всё своё свечение небу.

— Но желательно не делать этого каждый день: краски-то не простые. Вдруг волшебство пропадёт, — добавила Шоньты и попрекала Поньку за ухо. — А сейчас, вам пора домой...

Утром Енэшку разбудил звонкий собачий лай и папин голос. Папа рассказывал маме про невиданное чудо, которое он видел этой ночью.

— Представляешь, — восклицал он, — небо светилось разноцветными огнями.

А мама не верила ему и говорила, что он всё выдумал. Енэшка быстро достала краски из-под подушки, открыла их и увидела, что ими уже рисовали. «Значит, это был не сон? — Подумала девочка. — Та-ак, надо обязательно нарисовать что-нибудь!». Она соскочила с постели и начала быстро одеваться...

Если вы когда-нибудь увидите северное сияние, знайте, в это время далеко на Севере рисует Енэшка.



«За раскрытие своего внутреннего мира»

Демирова Назили Демировна

МЕМОАРЫ ГОРЯНКИ

«Горы... Вот, что врезалось в мою память с ранних лет: горы, плавно переходящие в теплое Каспийское море. Много легенд ходят вокруг моего Дома. Мой дом – это орлиное гнездо, находящееся между небом и землей. Удивительный край, рай на земле – Дагестан.

Если вам попался мой дневник, если вы читаете его, значит я покинула этот бренный мир, ибо невозможно жить вдали от родного дома. Как сейчас помню саклю на краю пропасти, в которой жила наша большая и дружная семья: дедушка, бабушка, дяди, тети, папа, мама, братья, сестры и я. В небольшом дворе был пристроен и сарай, где держали крупный и мелкий рогатый скот. Ох, как я любила белоснежных ягнят! Помню случай, когда я будучи маленькой девочкой лет пяти отказывалась лечь спать без новорожденного ягненка. Родители не знали, как меня успокоить. Я кричала, плакала, просила Максуда. Это я так назвала ягненка. У нас по соседству жил мальчик старше меня на два года. Его звали Максуд. Мне он нравился. Ну вы поняли, почему ягненка назвала Максудом...

Я в семье была самым младшим ребенком, и моим капризам потакали все, начиная с дедушки и заканчивая братом Ибрагимом. И как вы поняли, Максуд той ночью спал со мной... Мягкая, пушистая шерстка Максуда щекотала меня, но мне это нравилось. И я до сих пор помню этот специфический запах ягненка. Утром проснулась, а Максуда нет. Его мама забрала. Он успел нагадить на мою постель. И после этого случая я навещала его в сарае, в свою постель больше не забирала.

В горах женщину уважают, ценят и любят. Хотелось бы развеять миф о том, что к женщине в Дагестане относятся, как к рабыне. Это неправда! Женщина – это хранительница очага, семейного



уюта, тепла, и горцы ценят ту, что создает семью и дом. Если женщину одну не отпускают в людное место, это вовсе не значит, что она не вольна в своих желаниях.

Это означает, что женщина – это бесценное сокровище, которое не хотят потерять и пытаются спрятать от посторонних взоров. По крайней мере мне так твердил мой брат каждый раз, когда я просилась куда-то с классом...

Вы, наверное, думаете, что я жила не своей жизнью, что мне ничего не разрешали, что была под контролем старших братьев. Но это абсолютно не так. Жизнь в горах была насыщенной, мне там нравилось. В горах я обретала покой. Достаточно было вдохнуть свежий запах родных гор (заметьте, не воздух, как обычно указывают люди, побывавшие в горах, а запах. Это был родной запах родного дома, ибо горы – это часть меня).

Все, что мне осталось от родного края – это воспоминания. Воспоминания, которыми я дорожу, как мать дорожит своим ребенком. Вы, наверняка, знаете то состояние, когда безразлично абсолютно всё и смысла в жизни не осталось, и единственная радость в жизни – это прошлое, воспоминания. Вот я из тех людей, что живут одними воспоминаниями. И каждую ночь я вижу один и тот же сон: горные вершины и я с сестрами у родника. И лишь во сне я могу сказать, что я счастлива. Ох уж эта ностальгия, тоска по Родине! Как же она сжигает мое и так сожженное сердце?!

Совсем недавно меня мой похититель привёл на концерт, сказав: «Надеюсь, после концерта ты облегчишь свои страдания и перестанешь уже меня ненавидеть». Однако я с еще большим отвращением и неприязнью начала на него смотреть после концерта. Зал был большой и богато убранный. Огромная сверкающая люстра висела над нами, как полная луна на небе, освещая не только помещение, но и сердца посетителей. Люстра напомнила мне лунную ночь в горах, когда небо во всей красе дарило волшебство людям. Вспомнила, как в детстве сбегала из дома, чтоб лицезреть эту красоту. Чудный был день: вся семья вместе с соседями искала тринадцатилетнюю девочку. Только Максуд знал,



где я нахожусь, потому что он был со мной. Я не про ягненка, ягненок давно вырос, и я его уже не узнавала среди всех овец.

Я про соседского мальчика, который спал мне другом. Когда родители нашли нас на крыше, мне попало от отца по полной программе. Не поверите, сейчас вспоминаю это с улыбкой, даже соскучилась по отцу и его строгому взгляду. После этого случая отец Максуда и мой договорились, что через пять лет я стану женой Максуда. Я не перепутала, они договорились. Хоть одно радует: письменно не заключили этот договор. Услышав это, я села на подоконник. Слезы изнутри душили меня. Как это так, я же не вещь какая-то, зачем меня, маленькую девочку, отдавать в чужую семью без моего согласия?! Пока воспоминания нахлынули на меня, я услышала знакомый мотив. Сначала подумала, что мне мерещится опять всё родное. Но нет! Это лезгинка! Танец моих земляков! На сцене выступал знаменитый во всем мире ансамбль «Лезгинка». Впервые за эти пять лет я завизжала от радости. Завизжала у себя внутри. До чего же гордый танец. Танцор в национальной черкеске и папахе на голове напоминал гордого орла, наблюдающего за всеми с высоты своего полета. А горянка в изысканном национальном наряде плавными движениями нежных рук напоминала прекрасного лебедя. Я, вдохновленная мотивом гор, забыла, что рядом сидит человек, которому я дала слово никогда не улыбаться и радоваться рядом с ним, ибо таково мое наказание за кражу моей жизни. Вспомнив про своё обещание, я оглянулась на него, и увидела довольное лицо моего врага. В одну секунду мне даже показалось оно красивым.

Но моя обида настолько была большой, что не замечала его достоинства, и не хотела их замечать.

После концерта мы вышли из зала. Он впереди, я за ним. Я опять потерялась в своих воспоминаниях. Вспомнила, как плакала у окна за то, что отец в таком юном возрасте решил меня отдать за Максуда. Упешало одно в этой истории: Максуда я любила, любила, как брата. Мы все детство с ним провели вместе. Что я только с ним не делала! И голову разбивала, и с крыши толкала, и конфеты



отбирала, которые мы собирали на празднике Ураза. Однако мужем своим его не представляла. Да и он после помолвки стал странен себя вести со мной. Как-то я зашла к ним, чтоб поиграть в мячик. Вышла его старшая сестра и сказала, что его нет дома. А я же внимательная... случайно увидела его ноги в зеркале. «Какой же врун?! Никогда больше не попаду ему на глаза. Мерзкий мальчишка» – пронеслось у меня в голове.

– Ну как тебе концерт? – вернул меня в реальность мой похититель (имени его даже не хочу называть).

– Ничего особенного. – Ответила я.

– А мне показалось, что ты меня отблагодаришь хочешь?

– Ничего подобного. За что тебя благодарить? За мою сломанную жизнь?

– Жизнь ты сама себе ломаешь. Я хочу стать частью твоей жизни. Я все это время делаю все, чтобы ты меня приняла. Я не такой плохой человек, каким ты меня выставляешь в своих грёзах.

– Я нигде и никак тебя не выставляю. Я о тебе даже не думаю. Оставь меня в покое. Дай мне хотя бы помечтать о своем доме.

После этих слов он не продолжил беседу, открыл дверь в машину. Я села. Меня поразила его наглость. Как он вообще смеет вмешиваться в мою жизнь?! В пишине мы вернулись домой. Дорога казалась длинной. Уже пять я живу в этом безжизненном городе, но никак не привыкну к нему. Мимо проезжают машины, ходят люди, каждый думает о себе, о своих проблемах, лишь одна я мысленно где-то, в неизведанном, безлюдном месте. Никогда не думала, что моя жизнь сложится так. Ведь мечтала поступить в университет, стать учителем по русскому языку и литературе. Даже смирилась с тем, что стану женой Максуда. Однако жизнь решила иначе, решила, что я не достойна спокойной и счастливой жизни рядом с родными и близкими в своем родном ауле.

Вернувшись домой, я зашла в свою клетку и закрыла дверь, чтобы никто не попревожил мой мир, созданный в моей голове... С мыслями о родных я погрузилась в сон.

Мама... Это первый и единственный человек, образ которого



сохранен в сердце на века. Добрые глаза и милая улыбка всегда меня исцеляли от невзгод. Стоило просто поговорить с мамой о своей проблеме, она обнимала меня, и я растворялась в ее нежных объятиях. Так же исчезали и все проблемы. Мую маму можно смело назвать настоящей горянкой. Весь дом держится на ее хрупких плечах. Огонь в очаге никогда не погаснет, пока в доме мама. Увидеть бы ее в последний раз, обнять ее, положить на ее колени голову и выплакать все, что накопилось на душе. Рассказать о всех горестях, встретившихся мне на пути. Ее ласковый голос гипнотически воздействовал бы на меня, и я забыла бы обо всех проблемах в своей жизни. Я представляю, как они упрям с отцом сидят на веранде и пьют чай с горными правами и спорят, кому с кем повезло больше. Род матери достаточно знаменитый в ауле. Абсолютно все в ауле знают семью Салимовых, которые являются почетными людьми в Дагестане и за его пределами. И мать этим гордилась. Но и отец не отставал, приводя в пример своего деда, который был кунаком великого поэта Дагестана, Гамазата Цадаасы. А братья в это время спорят, кто первым уберет хлеб.

Амина. Моя единственная и старшая сестра. Старше меня на 5 лет. Замуж, наверно, уже вышла. Возможно, я пётей стала. Она была первой красавицей в ауле. Ее длинные черные, как уголь, волосы и глаза свели с ума не одного джигита нашего аула. А грациозная, королевская осанка являлась воплощением благородства и изящества. Все соседи сравнивали нас с сестрой, и говорили, что внешне мы с ней как две капли воды, — прирожденные красавицы, а вот характером она была нежнее меня. Она как хрупкий горный цветок, который нужно оберегать и защищать от ветров, горных дождей и палящего солнца.

Мама всегда хвасталась перед соседками: «Вот моя Амина настоящая хозяйка. Абсолютно все делает по дому: и приготовит поесть, постирает, уберет, почистит, помоеет, подметет, и корову доит. Вот такую бы невестку в каждый дом — все женщины нашего аула, жалующиеся на своих невесток, остались бы довольны такой невесткой, как моя Амина.»



Очень любят горцы одну пословицу «Дочке десять лет – у матери работ нет». Вот моя сестра – настоящая горянка своего времени. Как только исполнилось Амине десять лет, (по словам мамы) веник мама больше в глаза не видела.

А я? Что я?! Ела то, что готовит сестра, иногда помогала бабушке печь хлеб и готовить афары в традиционной лезгинской печке (хар). Помогала – громко сказано, сидела на табуретке и временами бросала в огонь дрова.

Признаться, не любила дела по хозяйству. Единственное мое увлечение летом – лазить по деревьям и собирать черешню, абрикосы. Не знаю, почему, но есть черешню, сидя на ветке дерева, доставляло мне больше удовольствия, чем дома из миски. Мое детство так и прошло.

Моя беззаботная жизнь переменилась в тот момент, когда из армии вернулся мой старший брат, Ахмед. С ним приехал его сослуживец, Александр, которого он почитал и любил как брата. Несмотря на разное вероисповедание и национальную принадлежность, Александр стал моему брату другом и поварихом. Как-то в письме брат писал, что на увольнении толпа нацистов напала на него, и Александр спас его ценой собственной жизни. И с этого дня Александр стал для брата настоящим другом. Всем известно, дагестанцы дорожат друзьями и умеют дружить. И мой брат считал, что он обязан жизнью Саше.

Мы любим гостей. О гостеприимстве горцев ходят легенды. Вспомнить только, как описал в своей повести «Аммалат-бек» Александр Марлинский закон гостеприимства горцев, когда хозяин ценой собственной жизни и жизни семьи защищал гостя, находящегося в его доме.

Двери саки горца открыты всем подряд. И даже враг, переступивший порог дома, автоматически переставал быть врагом, и его хозяин встречал со всеми почестями.

Очень тепло и дружелюбно мы приняли Александра. Это был не просто гость, а верный поварих брата, а значит почетный, и все должны к нему относиться с уважением.



В это время мне исполнилось шестнадцать лет. Тот возраст, когда бутон начинает раскрываться, как рассказывала нам с сестрой бабушка. Я оканчивала школу и собиралась поступить на филолога. С двумя длинными косичками и в длинном широком платье я выглядела безобидной, чистой и доброй девочкой. Такой я показалась, видимо, и Александру, ибо в первое время он меня спеснялся, избегал моего взгляда. Впервые увидев его, мне стало не по себе, и я не понимала, с чем это связано. В книжках, которые я читала, с героинями обычно такое происходило, когда они встречали своих любимых. «Но Александра нельзя назвать любимым. Да и нельзя его вообще любить! Он – русский, я – дагестанка. Нельзя!» – размышляла у себя в голове. Первую ночь после знакомства с Александром я не могла заснуть. Его образ стоял перед глазами. Голубые глаза, в которых можно утонуть, и хочется парить, напоминали по океан бескрайний, по небо чистое. Я таких глаз в жизни не видела. Свою реакцию на Александра я смогла объяснить тем, что я слишком впечатлительна и эмоциональна. Или, может, это связано с тем, что я никогда в жизни не видела русского. «Скорей всего так и есть!» – решила я и заснула.

На следующий день я проснулась от странного шума за моим окном. Полусонная, я встала, заплетая слабую косу, подошла к окну, откуда доносился шум. Отодвинув занавеску, увидела то, за что соседского мальчика поколотила бы, а вот гостя нельзя. На дерево залез Саша и ест абрикосы. Я не жадная, пускай кушает их, но он же тяжелый и может сломать ветку.

От злости я не знала, что сделать, потом решила сделать вид, что не узнала нашего гостя и закричала: «Максуд, сколько раз я тебе говорила, не залезать на деревья. Ты тяжелый, все ветки обломаешь». Что странно – сказала-то я это всё на русском. Он спрыгнул с дерева, подошел к окну. Его голубые глаза глядели на меня так пронзительно, что я не могла отвести свои глаза от него. Около двух минут мы стояли неподвижно: я у окна, он под окном и пожирала друг друга глазами. С небес меня спустил голос мамы, которая звала меня вниз. И я резко отошла от окна, переделалась и



спустилась вниз.

Внизу сестра и мама готовили далму – любимое блюдо брата. Увидев меня, мама попросила помочь им заворачивать мясо в виноградные листья. Нехотя, села и начала делать далму. Маме никогда не нравилось, как я готовила...

– Хадижа, поньше и длиннее заворачивай. Это что такое? Сколько можно тебя учить?! – ругательским тоном сказала мама.

– Ну, мам, какая разница, как они будут выглядеть. Главное – они будут вкусные, – ответила я.

– Вот почему ты как мальчишка ходишь, – с усмешкой добавила сестра.

Обидевшись, вышла из кухни, вытирая руки об салфетку. У дверей стоял Александр. Столкнувшись со мной взглядом, он спросил, не видела ли я Ахмеда. «Он в лес за коровой отправился», – ответила я смущенно. Потом он попросил показать ему дорогу в лес. Подробно все рассказывать не вижу смысла, но за время, пока его проводила к брату, я узнала о его жизни. Он живет в Санкт-Петербурге, ему 27 лет, отец умер лет десять назад. С матерью живет его сестра, Алёна. Я рассказала ему о своих планах, рассказала о том, что хочу поступить в университет, о том, как родители против этого. Беседуя, мы добрались до поляны, где пас овец Ахмед. Оставив Сашу с братом, я вернулась домой. По дороге домой я начала думать о Саше, в какой-то момент мне даже показалось, что я влюблена в него.

Дорогой читатель, узнала я о том, что люблю его в ту ночь, когда Амина отправила к нему вечером с кувшином кислого молока и домашним хлебом. Дома никого не было кроме сестры, меня, младшего брата Ибрагима и Саши. Родители и братья уехали на похороны.

И вернуться должны были через два дня. Комната гостя находилась на втором этаже. Амина была помолвлена и не могла видеться с мужчинами, поэтому к гостю с молоком отправила меня. Когда зашла к нему в комнату, он лежал и резко привстал, увидев меня. Я дрожащими руками оставила на столе поднос.



И за это время Александр что-то спрятал под подушкой. Мне стало интересно, что же он прячет под подушкой и почему он так взволнован. Он поблагодарил за молоко, и я вышла. Всю ночь я думала о том, что же он спрятал. Любопытство взяло верх надо мной, и я в такое позднее время, накинув сверху одеяло, вышла из комнаты. В коридоре было темно и тихо. Я плавным шагом направилась к комнате Саши. Медленно открыла дверь и переставными тихими шагами приблизилась к его кровати. Наклонившись за подушкой, я уткнулась носом в его шевелюру волос. Волосы пахли моим ягодным шампунем. На минутку даже хотела стукнуть его за то, что моим шампунем пользуется. Потом вспомнила, зачем зашла и, пока он не проснулся, резким темпом забрала какую-то тетрадку под подушкой. И быстрым шагом вернулась в свою комнату. Села на кровать, раскрыла тетрадь. Это было что-то вроде дневника, который, судя по дате, Александр вёл с того дня, как приехал к нам.

«7 июля: Сегодня я встретил самую красивую и в то же время большую на голову девушку. Она прекрасна как луна, порой нежна, как цветок. А иногда может разбить голову взрослому мужику камнем. Когда впервые увидел ее красивые глаза и длинные, черные, как ночь волосы, у меня приостановилось дыхание. Она божественна...

8 июля: Сегодня эта красивая горянка с буйным характером принесла мне упрямое кислое молоко, которое тут принято пить по упрям для бодрости и сил. Увидев ее с кувшином, сначала показалось, что сама сказочная принцесса из неизведанной сказки снизошла ко мне во сне, но её грубое «На, пей!» вернуло меня в реальность. Даже грубые фразы с её нежным голосом я воспринимаю как песню соловья.

9 июля: Сегодня весь день моя ласточка на дереве ела абрикосы. Ахмед, увидев, как я смотрю на нее, решил, что и я хочу абрикосы. Улыбаясь, он предупредил: «Даже не думай, Сань, лезть на это дерево. Хадиджа может и убить». Меня это предупреждение заинтриговало, и я решил на следующее утро залезть на дерево, чтоб вызвать в ней хоть какие-то эмоции ко мне, а то её равнодушие меня ранило глубже местного кинжала.



10 июля: Я проснулся сегодня с отличным настроением. Залез на любимое дерево моей чудачки. Не успел залезть на дерево, как услышал шаги в ее комнате. «Значит, проснулась хулиганка», – пронеслось в голове. И вот, увидел это чудное лицо. Угольные глаза пронизывали меня насквозь. Сколько страсти в этой вроде скромной горянке?!

Но она что-то проговорила, не совсем разобрал из-за пого, что был очарован ее изяществом, благородством и нежностью. Сегодняшний день такой удачный для меня. Мне удалось с ней прогуляться в лесу, поговорить с ней. Она очень милая. Она создана для любви, так и хочется ее зацеловать, но не от кого. Все местные мальчишки её боятся.

21 июля: Все это время не мог с тобой делиться, потому что помогал семье по хозяйству. Сегодня завел разговор о Хадиже с Ахмедом. Ахмед разрушил все мои мечты о моей любимой. Да, любимой. Я её люблю. Ахмед сказал, что Хадижа помолвлена с соседским мальчишкой. Также я узнал, что местные адапты никогда не позволят нам с ней быть вместе. Я русский, православный – вот эти два слова являются причиной того, что ей нельзя меня любить. Так печально. Также я узнал у её брата, что учиться Хадижу тоже никуда не отпустят.

«Отец до свадьбы тешит сестру надеждой об учебе, чтоб та глупости не наговорила, а на самом деле закончит учебу, будет сидеть дома, как и Амина», – дословно слова Ахмеда».

И на этом я решила остановиться. Значит, отец и не думает меня отпускать учиться. Для меня это сильный удар по больному. Он ведь обещал мне, что только после завершения учебы меня выдаст за Максуда. Что же делать?!

Уже рассветало. Я до утра лежала, как вкопанная и перебирала в голове все, что прочитала в записях Александра. В какой-то момент я улыбнулась от мысли, что Александр меня любит. Потом вспомнила, что скоро он проснется, а тетрадь с записями у меня. Резко встала и побежала опять в его комнату. Его не было там. Я, обрадовавшись, быстро подошла к его постели и вернула тетрадь



на место. Как только я встала и хотела выйти, лбом ударилась об стену. Голова трещала, но терпела даже такую сильную боль, чтоб не закричать. Пока держала голову от боли, дверь открыл Александр. Я от неожиданности закричала. Он прикрыл мне рот рукой. От страха я укусила ему руку и спросила, что он тут делает. Он засмеялся. Его смех развеял мой страх, и сама удивилась от своего вопроса. Сама же на свой вопрос ответила: «Ну да, ты же тут живешь». Он улыбнулся, широко открыв красивый рот. У меня остановилось дыхание, мне казалось, что жизнь остановилась, есть лишь я, он и его красивая улыбка, от которой мурашки по всему телу.

– Воровка, зачем на этот раз пришла? – спросил он.

Я испугалась, решив, что он видел, как я заходила в его комнату за тетрадью.

– О чем это ты? – гордо подняв голову, спросила я.

– Как о чем? Ты не знаешь, что ты у меня забрала? – игриво спросил он.

И тут я испугалась не на шутку. А вдруг и вправду – он не спал тогда.

– Я что-то ценное взяла у вас? – уточнила я.

– Как думаешь, мое сердце – ценность? Если да, то ты ценное у меня взяла. Украла мое сердце.

Сердце начало колотиться с бешеной скоростью. Руки и ноги стали ватными от этих слов. И бабочки в животе запорхали, как случается у героинь в романах. Ничего не сказав, выбежала из его комнаты. Он пошел за мной в мою комнату. Я не чувствовала ничего: ни времени, ни пространства. Он стоял передо мной и признавался мне в любви, но жаловался на наши обычаи.

– Я на все жертвы пойду, Хадижа, если ты мне одобрительно улыбнешься, – добавил к своему признанию в конце. А я? Я не могла не улыбнуться. Я его тоже любила, но горянка никогда не должна в этом признаваться. И моя улыбка означала согласие и право меня добиваться.

На следующий день приехали родители. И все шло как обычно. Но я всегда ловила влюбленный взгляд Александра. Он глазами



мне признавался в любви каждый день. И я мило улыбалась ему в ответ. Я себя не узнавала: я изменилась до неузнаваемости – стала спокойной, мечтательной, стеснительной. Даже домашние заметили мои изменения. Ибрагим даже пошутил, сказав, что я влюбилась. Посмеялись все, и мой возлюбленный. Но его смех отличался от всех, потому что он только знал правду, а для остальных это был прикол: видите ли, я бесчувственная и каменная, не могу влюбиться. Так прошел месяц.

Как-то ночью, когда все заснули, Саша позвал меня в сад. Я пошла. И его слова поразили меня.

– Я разузнал все тонкости вашего менталитета. Все это время я успел изучить тебя, твоих братьев, отца и мать. Они никогда не согласятся на твой брак со мной. А что касается тебя – ты меня любишь, но воспитание твое не позволяет тебе в этом признаться. Также я знаю про ваш обычай один. Он очень древний, но эффективный в нашем случае. Я тебя украду.

Уведу в Питер. Там никто нам не помешает пожениться. Мы поженемся, ты поступишь в университет, как и хотела. Одним словом, мы будем счастливы с тобой.

– Кража? Нет, это невозможно. Это очень опасно. Нас убьют, когда поймут.

– Нас не поймут.

– Если ты меня любишь, то ты должен думать обо мне. Сбежать с тобой – это значит опозорить свой род, родителей, братьев. О Всевышний, спаси меня от такого позора! Нет, Саша, наша любовь обречена на гибель. Мы никогда не будем вместе. Мы из разных миров. Тебе придется уехать, забыть обо мне.

– Нет. Я тебя не оставлю в этой глухомани. Ты заслужила роскошную жизнь, какая у тебя будет со мной, а родители со временем поймут, примут нашу любовь и простят тебя.

– Саша, это неправильно. Я не согласна.

– Ты меня любишь?

– Люблю, но ради такой любви я обреку на горе свою семью. Отец не переживет такой позор. А мать не сможет сходить даже



на родник. Нет, Саша. Такую любовь не хочу.

– Я завтра поговорю с твоим отцом. Объясню ему, как тебя люблю. Готов даже на смену религии. Надеюсь, он мне поверит и отдаст тебя мне.

Этим завершился наш разговор. Я пошла в свою комнату. Перед сном я даже придумала у себя в голове жизнь с Сашей в городе. Как я буду ходить на учебу, как Саша будет встречать меня у университета после занятий, как будем гулять с ним по городу. «Всего лишь несбыточные мечты! Суждено мне стать женой Максуда», – с такими мыслями я заснула.

Спанные сны снились мне всю ночь.словно я в незнакомом месте ищу дорогу домой. И найти не могу. Я заблудилась.

Смотрю по сторонам: нет гор, скал. Куда все подевалось. Услышав крик орла, я начала бежать за ним, и упала. После падения я проснулась. Проснулась в машине...

Вот так мой любимый Александр стал моим похитителем, который разлучил меня с родным домом, семьей. Правду говорят: «От любви до ненависти один шаг». И я этот шаг перешагнула. Точнее Александр заставил перешагнуть. И с этого дня я возненавидела своего возлюбленного. Это очень тяжело – любить и ненавидеть одновременно того, ради которого готова была на все. Я представить боялась в этот момент, что творилось в нашем доме. Этот ужас не описать словами.

Через три дня я оказалась в Питере. Я не разговаривала с Сашей все это время. Он не понимал, что происходит.

– Как же так?! Разве любовь проходит за пару дней? – спрашивал он.

– От любви не остается и следа, когда обманывают, – ответила я ему наконец.

Александр не понимал, что он сделал такого криминального. Он же любя. Он даже не подозревал, что творилось у меня на душе. Я мысленно находилась в родном ауле, с родной семьей. Представляла, как сидела с ними за столом, ела мамины голубцы, пила дагву (национальное лезгинское блюдо из молока с мятой), которую



недавно научилась у бабушки готовить сестра. Все происходило так необычно: словно я привидение. Также я представляла, как переживает мама моя, как она плачет перед сном, как молится за меня. За что меня Всевышний так наказывает!!!

Прошло уже пять лет. И за эти пять лет никаких вестей о моей семье. Учипсья я поступила. Была возможность даже вернуться домой, в родной аул, побежать на веранду и крепко обнять маму со спины, но хотяп ли они меня видеть?! Примут ли они меня после такого позора?! Они-то не знают, что не по своей воле я тут оказалась. Им-то не знапть, через что я прошла за эти бесконечные пять лет.

Саша стал мне мужем, ибо не было у меня другого выхода: жить в одном доме с незнакомым мужчиной категорически нельзя. Кроме того, что Саша, похитив меня, вызвал во мне отвращение к нему, так, он еще оказался предателем. Представляю, как тогда спрадал мой брат, Ахмед, который привел будущего врага семьи в наш дом, приютил его как родного, а он оказался предателем.

Уже ночь, а Саша до сих пор не вернулся с работы. Даже начала переживать. Воспоминания нашей прежней любви каким-то образом разбудили во мне переживание за него. Зайдя на кухню за чашкой чая, я услышала, как открылась дверь в квартиру, и на своё удивление – я обрадовалась возвращению мужа. Он зашел на кухню, выпил воды, схватил меня за локоть и повел в гостиную.

– Нам надо поговорить. Хадижа, я получил письмо от пвоего брата.

От этих слов сердце заколотилось сильнее. Что только в мою больную голову не пришло. Слезы навернулись на глаза. И в ожидании плохой новости, дрожа всем телом, я смотрела на Сашу.

– Бабушка пвоя при смерти. Перед смертью хочет тебя увидеть.

– Где это письмо? – судорожно спросила. Александр молча подал мне письмо. Я сразу узнала почерк Амины...

«Хадижа, моя маленькая смуглянка, любимица наша. Прошло уже пять лет, как ты сбежала из дома. Многие изменилось за это время. Ты стала тетей семь раз. На днях жена Ахмеда обрадовала нашу



семью седьмым внуком. Она родила четырех прекрасных малышек. И у меня прое хулиганов. Я надеюсь, сестренка, что ты счастлива с этим русским. Отец, когда ты сбежала, приболел сильно, очень долго восстанавливался. Мать совсем припихла, не слышно в доме ее звонкого голосочка. Ночами плачет, молится за твое здоровье. Теперь бабушка заболела. Просит тебя привезти перед смертью.

Говорит, что Всевышний её не принимает на небеса, пока внучка блудная домой не вернется. Мы ждем тебя, Хадижа. Все будут тебе рады».

Я не выдержала, заплакала.

– Не плачь. Я все напворил – значит, я всё исправлю, – сказал Саша.

На следующий день мы уже взяли билеты в Махачкалу. Странное чувство преследовало меня с того момента, как я прочитала письмо сестры. Было страшно возвращаться домой спустя столько времени. Не давала покоя мысль о том, как же примет нас отец. Да, именно нас, потому что одна поехать туда, незамужней, я тоже не могу, ибо это больший позор. Саша будет моим мужем до конца моих дней. Мужем-врагом. Пока что я не могу ему простить всю боль, что я пережила из-за него.

Через пару часов мы оказались в Махачкале. Родной воздух родной земли не сравнится ни с каким ароматом. Как только нога коснулась земли дагестанской, я словно ожила, словно вернулась в свое детство, когда босиком ходила по лесу и горным дорогам, срывая горные фиалки. Еще через пару часов мы уже были в моем родном ауле. Аул не изменился! Тот же! Так же меня принял. Я сняв обувь, побежала по дороге, ведущей к нашему дому. Увидев издалека крышу родного дома, я приостановилась, что-то дернуло меня назад, словно говорило: «Не ходи туда! Не нужно!». Я остановилась и обернулась назад. Саша уже почти догнал, упрекая меня: «Ты ничуть не изменилась, оказывается, моя пташка».

– Саша... – впервые за долгое время я назвала его по имени. Он удивился, потом улыбнулся.

– Саша, я прощаю тебе всё. Клянусь! Увидев родные места, на



меня нахлынуло по волшебство нашей любви. И я поняла наконец-то, что я тебя люблю по-настоящему.

Он молча подошел ко мне, приобнял и поцеловал. Мы, счастливые, подошли к воротам моего дома. Зашли. Первой я увидела маму. Она постарела. Седые волосы, словно серебро, блестели на солнце, а глаза были окружены лучиками морщин. Я обняла ее крепко. «Прости за всё, родная. За всё прости! Я очень тебя люблю! Очень сильно!». Она тихо плакала у себя внутри, я чувствовала ее слезы у себя на щеках. И вдруг я услышала выстрел. Обернувшись, увидела Сашу лежачим. А сзади него Максуд с ружьем.

Он хотел выстрелить и в меня, но вовремя подоспел брат, и отобрал у него ружье. «Это за позор, нанесенный мне. Я ждал этого пять лет», – с отчаянием в голосе проговорил Максуд. Я всё это едва слышала. Я держала на коленях своего мужа, которого обрела спустя пять лет и потеряла в тот же миг.

Это безумие! Если вначале, дорогой чипатель, я говорила, что умру от тоски по Родине, то теперь заявляю, что Родину я обрела, живой и невредимой вернулась домой, но никогда мне не вернупь мой мир – мою любовь, моего мужа. И во всем виноваты два слова, как говорил мой муж, – «русский и православный». Разве эти понятия определяют, кого нам любить? Разве у любви есть нация, законы? Мы влюбляемся в тех, в ком видим свой мир, не известный больше никому кроме нас.

Если бы не эти два слова, Саша бы меня не увёз, мы были бы счастливы все. Я, он и моя семья. И не было бы такой долгой разлуки с Родиной. Я не могу ночами заснуть. Он зовёт меня. С той самой скалы, где мы впервые заговорили с Сашей по душам, я спрыгну этой ночью.

Не делаются возлюбленные на нации и религии. Либо он любимый, либо нет – другого не дано! Горы... Вот, что я увижу этой ночью перед смертью. Я счастлива! Я умру в родных горах».



«За доброту и веру в чудо»
Козлов Сергей Сергеевич

ДОТЯНУТЬСЯ ДО РУССКОГО НЕБА

В такую ночь, кажется, вся Вселенная открывается. Глянешь в небо, и голова кружится. Звезд высеяно — и больших и малых — цветов разных и сияний всяких. И все это не просто мерцает-светит, а еще, вроде как, дышит, движется что-то там. Будто в механизм часов Господа Бога заглянул. Вращаются шестеренки галактик, цепляют друг друга, и сияет весь этот мудреный мир какой-то удивительной радостью творения. Сияние показать можно, движения отдельные описать, а объема не передать. Слов не хватит, потому как дух захватывает. И никакого чувства хаоса, напротив — размеренность и предначертанность во вселенском устройстве. В глазах рябит... Но важно — увидеть главную звезду — Вифлеемскую. Ночь-то рождественская... А на земле топчется с ноги на ногу всего-навсего брэнное тело, запрокинув голову в чарующее ночное небо, душа же будто соединилась невидимым лучом со всей этой звездной кутерьмой. И скользит душа по лучу и теряется в мириадах миров, в завихрениях туманностей, и непонятно, то ли она за взглядом, то ли взгляд за ней едва поспекает. Ночь же пронизанная, будто примороженная, а не привороженная даже вселенской тайной ширится и объемлет маленький человеческий мир, наполняя его чудесами для тех, кто умеет видеть и слышать небо. Для тех, кто очень в них нуждается, для тех, кому в эту ночь не хватает любви и заботы.

Вдруг две маленьких, как крупинки, звезды сорвались с разных частей неба и ринулись вниз по наклонной к центру горизонта, столкнулись на середине тупи и превратились в небольшую, но очень красивую вспышку.

— Вау! — восхитился Ильяс, который никогда ничего подобного

не видел. — Вау, — повторил он, как человек современный, и добавил, как учил его дед: — Хвала Аллаху, господу миров!

Несмотря на свое бедственное состояние, Ильяс не мог не восхититься увиденным. Он даже забыл, что смотрел в ночное небо от великой печали. Идти ему в этом чужом северном городе было некуда, даже добраться до аэропорта, где можно было встретить земляков, и получить хоть какую-то помощь было не на что. Можно было радоваться, что прораб, выгоняя его с работы накануне праздника, милостиво швырнул ему хотя бы паспорт. И чужой город, сияющий не только окнами и огнями реклам, но и огромными белоснежными сугробами, никуда не звал его. Поэтому у Ильяса появилось время смотреть в небо. Много времени... А обида шептала ему, что теперь он вправе забрать честно заработанные деньги там, где они плохо лежат. Надо только хорошо подумать. Найти такое место или такой карман. И пусть потом кто-нибудь другой рассказывает про кризис, и про то, что хозяин стройки вдруг разорился...

— Вы тоже это видели? — фразу произнес мужчина, который будто из-под земли вырос рядом.

Прежде чем ответить, Ильяс внимательно посмотрел на него: статный, седой, без головного убора, в длинном черном пальто и дорогих лаковых ботинках... Явно из тех, кто не думает, из какого кармана достать деньги. Точнее — электронную карточку.

— Видел, — сухо ответил Ильяс.

— Мне кажется, вас что-то печалило, раз вид такого удивительного неба не радует вас, — вкрадчиво и очень вежливо предположил мужчина. Но именно эта вежливость раздражала Ильяса. Более того, он из-за нее мог считать себя хозяином положения.

— Вы у каждого гастарбайтера спрашиваете, как у него дела? — иронично поинтересовался Ильяс.

— Нет, конечно, я редко бываю на улице.

— Много работаете? Офис-мофис?

— Не только поэтому, — уклончиво ответил мужчина и вдруг



представился, и протянул руку: – Меня зовут Илья Сергеевич.

– Ильяс, – он вынужден был протянуть руку в ответ.

– Ух ты, – удивился мужчина, – мы пезки. Просто у вас вариант арабский.

– Ну да... – сам удивился Ильяс, и позволил себе немного отпаять.

– Так в чем же ваша проблема? – участливо спросил Илья Сергеевич.

– Мировой финансовый кризис, – начал издалека Ильяс, но Илья Сергеевич не дал ему договорить и задал другой вопрос.

– Вы очень хорошо, почти без акцента говорите по-русски. А возраст... Ну вы точно не в СССР родились.

– Точно. Просто у меня отец был учителем русского языка. Его Ильхом зовут. Он был очень хороший человек.

– Был?

– Да, он умер.

– Извините.

– Ничего. Он давно умер. Я старший сын, должен заботиться о семье, и вот я приехал сюда, а тут случился этот проклятый кризис.

– Вам не заплатили и выставили на улицу в рождественскую ночь, – догадливо продолжил Илья Сергеевич.

– Точно.

– М-да... Не по-христиански...

– Да это вообще не по-каковски!.. – дал волю возмущению Ильяс.

– Я просил денег хотя бы на билеты!..

– Вы позволите мне помочь вам? – перебил его Илья Сергеевич.

– Позволить? – переспросил Ильяс. – С чего бы вам это делать?

– Он посмотрел на Илью Сергеевича с таким недоверием, что тот очень смутился.

– Беда нашего времени в том, что мы уже перестали доверять добру. Это страшно. – Печально сказал куда-то себе под ноги Илья Сергеевич. – Мы в добре видим подвох! Последние времена... Явно последние... Но, – оживился он вдруг, – в рождественскую

ночь должны происходить чудеса. Должно совершаться добро. Понимаете?

– Понимаю, – криво ухмыльнулся Ильяс, – прораб так и сказал: с рождеством тебя, чурка...

– Не обижайтесь на него. Он просто недалекий человек. Вы ведь тоже как-то между собой называете русских?

– Валенки... иваны... – начал вспоминать Ильяс. – Кляпы мурики! – это хохлы так говорили, которые с нами работали.

– Ну вот, – облегчено вздохнул Илья Сергеевич, – знаете, моя соседка Валентина Пепровна – очень добрая спарушка, она приготовила мне рождественского гуся, есть немного вина... Сама она побежала на службу в храм.

– А вы? – спросил Ильяс. – Вы не пошли в храм? У вас же праздник... Мы Ису почитаем, как пророка.

– Если Христос узнает, что я вместо того, чтобы пойти на службу, помогал человеку, Он не обидится.

– Даже если этот человек мусульманин?

– Человек – вот главное. Пойдемте ко мне, – запросто предложил Илья Сергеевич, – через интернет можно заказать вам билет на самолет...

– Вы что – дадите мне денег?

– Конечно, вы же вернете, – удивился недоверию Илья Сергеевич, – вы же тезка. Разве не так?

– А-эм... – Ильясу вдруг стало стыдно, он увидел этого пожилого спящего мужчину насквозь. Илья Сергеевич располагал к себе без всяких объяснений, просто потому, что был добр от природы. Ильясу стало стыдно, что он отнесся к нему с недоверием.

– Какое удивительное, какое глубокое и какое насыщенное сегодня небо, – Илья Сергеевич восхищенно шептал, запрокинув голову. – У ангелов много работы.

– Вы в это верите? – Ильяс тоже обратил взор к небу.

– Ну... У меня даже выбора нет.

– Как это нет?



– Ну... у каждого человека есть данный Богом выбор: верить или нет. А у меня нет. Я просто верю и все.

– Вы что, их видели? – грустно улыбнулся Ильяс.

– Как вас, – спокойно ответил Илья Сергеевич, – понимаю, – опередил он недоумение гаспарбайтера, – я выгляжу, как сумасшедший. Очень жаль...

Ильясу снова стало стыдно. Он вспомнил, что в Фергане его ждет младший брат и младшая сестра, ждет бабушка, ждет Чинара... Младшие тоже верят в чудеса, от этого они немного счастливее, чем Ильяс, чем бабушка, вся жизнь которой это только труд и ничего более. И вот Ильяс не сможет сделать для них маленькие чудеса: хотел всем привезти подарки. А теперь стоит под холодным сибирским небом, пялится в него вместе с добрым, но явно сумасшедшим пенсионером, которого сначала принял, чуть ли не за олигарха. Странные и разные эти русские. Были такими большими и сильными, и что с ними стало? На что они себя распростили? Почему половина русских продолжают считать себя великим народом, а другая половина спивается и заискивает перед западом? Какая половина победит или останется? Или, как говорил мулла, через какое-то время русских останется столько, что можно просто будет прийти на то место, где они были. Они с настороженностью смотрят на нас, мы – на них. Отец говорил, что когда-то у него был русский друг, и этот друг был самым верным. Но его убили на улицах Ферганы... За то, что он был русским. А здесь – на этой улице – запросто могут убить Ильяса. Но вот стоит пожилой мужчина, и в глазах его светится добро. У него серые глаза... А у Чинары – голубые. Удивительное сочетание. Сама она бронзовая, волосы – бархатная смоль, а глаза – голубее неба! Может, где-то в прадедах у Чинары есть вот такой сероглазый Илья Сергеевич. У него, наверное, в юности глаза тоже были светлее и ярче, но потом их затянуло пеленой прожитых лет. У отца были такие же... Уже не карие, а похожие на пересохшую почву.

– Я верну вам деньги. Прорабу все равно придется с нами

рассчитываться. У нас все было по закону. Договор, карточка миграционная... Хопите посмотреть мой паспорт?

– Зачем? Чтобы поверить? – улыбнулся Илья Сергеевич. – Не надо. Мы не в банке.

Квартира Ильи Сергеевича оказалась маленькой, но уютной. Две комнаты и кухня, стены которых превращены в стеллажи для книг. Туп не нужны не водоэмульсионка, ни обои – туп со всех сторон корешки книг. Даже на кухне есть книжная полка.

– Вы все это читали? – восхищенно спросил Ильяс.

– Нет, очень хотел бы, но просто не успел и уже не успею.

– Отец тоже много читал... На русском... – шагая вдоль стеллажей, Ильяс нечаянно налетел на инвалидное кресло-качалку, которое стояло у кровати в спальне. – Извините, зазевался.

– Да ничего страшного. У меня как раз к вам просьба. Поможете?

– ? – обратился во внимание Ильяс.

– Хочу передвинуть кровать к окну. Там хоть и дует, но зато видно небо.

– Конечно, помогу, – Ильяс туп же взялся с одной стороны за спинку кровати. – Туда двигать?

– Туда.

Они быстро и легко переставили кровать, как просил Илья Сергеевич.

– Ну, а теперь нас ждет гусь, которого запекла Валентина Петровна. Очень добрая у меня соседка. Очень. Если б не она, я, наверное, с голоду бы умер. Прибирает, готовит, стирает... Как за ребенком за мной смотрит.

– Моя бабушка тоже помогает одинокому соседу, – добавил Ильяс.

– Время такое. Все поропятыся. Пожилые люди предоставлены сами себе.

– У нас не так. Мы уважаем старших, – твердо возразил Ильяс, – а соседу бабушка помогает не потому, что его дети бросили или мало ему помогают, а потому что ей самой так хочется.



– Ну и, слава богу, – улыбнулся Илья Сергеевич. – Вы немного вина выпьете или ислам запрещает?

– Немного можно. Ночью Аллах не видит, у меня друзья так шупят. Они современные люди.

– А вы Ильяс?

– А я?.. Не знаю... – Ильяс по-прежнему бродил вдоль книжных стеллажей и все больше думал об отце. После его смерти книги вынесли в сарай. Старые книги с пожелтевшими страницами. На место книжных шкафов поставили современную мебель, новенькую аудиоаппаратуру. Удачная халтура в Москве тогда подвернулась. Строили торговый центр. Да, странная нынче экономика, – подумал Ильяс, – магазины строим, – а заводы не строим. Что будет продаваться в магазинах?

Илья Сергеевич между тем включил компьютер и стал искать в сети заказ авиабилетов.

– А вы кем работаете или работали? – спросил Ильяс.

– Я писал книги для детей.

– Писатель?

– Ну... можно так сказать.

– И много написали?

– Как посмотреть. Ну... вон... на той полке...

– А почему для детей? Детей любите? – Ильяс развернул одну из книг, бесцельно полистал.

– Люблю. Как же детей не любить. Они же ангелы.

– О! У меня младший брат такой ангел, – усмехнулся Ильяс, – шайтан, а не ангел. Только и успеваю его из неприятностей всяких выпаскивать. – Он подошел к столу, за которым сидел Илья Сергеевич, и увидел фотографию в рамке: молодой Илья Сергеевич с красивой женщиной и двумя мальчиками. Скорее всего, погодками. У женщины были голубые глаза, как у Чинары. Не голубые даже, а почти бирюзовые. Но женщина была блондинкой.

– Это ваша семья?

– Да.

– Они куда-то уехали.

– Да. – Илья Сергеевич неотрывно смотрел на экран ноутбука.

– На нем пишете?

– Ага, если Валентина Петровна не против.

– Как не против? – удивился Ильяс.

– Она за моим режимом следит. Чтобы не переработал.

– А-а-а...

– Ну вот, билет завтра, до Ташкента. До Ферганы от нас не летают.

– Ничего, там я доберусь. – Ильяс стоял рядом, покусывая нижнюю губу в нерешительности, ему хотелось сказать что-нибудь очень теплое Илье Сергеевичу, но он не находил слов, да и не решался.

– А сейчас – за стол! Полночь скоро, праздник. Сейчас начнут запускать фейерверки. Те, которые от Нового Года остались. Глупо у нас в стране получается. Рождество после Нового Года...

– Илья Сергеевич, – наконец-то решился Ильяс, – я обязательно верну вам все деньги. Может, не сразу, но обязательно верну. Вы хороший человек. Таких сейчас не бывает. Мой отец был таким...

– Это самые лучшие слова, которые ты мог сказать мне, – Илья Сергеевич опустил взгляд, потому что на глаза у него навернулись слезы.

– Я верну. Правда.

– Я знаю. Пойдем за стол. Думаю, тебе лучше приехать сюда уже в апреле. Кризис-то надуманный. Все уляжется. Весной работы будет больше.

– Я так и поступаю. Вы хоть и сумасшедший, но мудрый, – улыбнулся Ильяс, – простите...

– Да ничего.

– Я просто думаю... Вот как на вас со стороны посмотрят. Подобрал какого-то первого встречного на улице, нерусского, да еще дал ему кучу денег на билеты...

– Ах! Чуть не забыл! – спохватился Илья Сергеевич. – Вот, – он



взял с полки книгу и вынул конверт, который лежал между книг. — Тебе нужны будут подарки твоим близким... — И поропливо упреждал недоумение, от которого Ильяс потерял дар речи: — Бери-бери. Здесь не так много. Гонорар за последнюю книгу. Тебе сейчас нужнее. У меня еще пенсия. И Валентина Петровна. Бери же...

— Что скажут ваши близкие?... — Ильяс покосился на фотографию.

— Ничего не скажут. Точно.

— Храни вас Аллах! — теперь уже на глаза Ильяса выступили слезы.

— И тебя храни Бог, — улыбнулся Илья Сергеевич. — Пойдем, если мы сейчас не съедим гуся, Валентина Петровна будет меня с самого утра ругать. Там еще и пюре... А вино у меня крымское. Настоящее. Каберне. «Массандра». Друзья прислали.

Они присидели до самого утра. Запеченный гусь с золотистой корочкой, пюре, зелень и красное вино окончательно расположили их друг к другу. Ильяс рассказал о своей семье, о Чинаре. О том, что они мечтают пожениться, но нужно заработать десять тысяч долларов на свадьбу. Меньше не получится. Нет, калым теперь уже пережиток. Калым, может быть, у богатых. Простые люди хотят счастья своим детям, и так же как в России родители жениха и невесты складываются на свадебные расходы. Но свадьба обязательно должна быть пышной. Шумной. Гостей должно быть много. И должны быть важные, именитые гости. А Чинара... Она такая стройная и немного высокая. Как немного высокая? Ну... немного выше, чем принято. Кем принято? Откуда стандарты? Ну, на западе она была бы топ-моделью, а на востоке надо быть чуть меньше... Чуть-чуть... Может, поэтому на нее еще никакой олигарх-бай глаз не положил...

Илья Сергеевич в основном слушал, спрашивал и задавал такие вопросы, что Ильясу самому было интересно на них отвечать. И когда Ильяс хотел задать какой-нибудь свой вопрос, хозяин дома опережал его на долю секунды, и приходилось уступать старшему. После семейных историй Ильяс рассказывал о древнем

Самарканде, Коканде, об Улугбеке и его деде – хромом Тимуре. О том, какой красивый весенний праздник Навруз... За беседой они даже не заметили, как пролетело время, и когда зазвонил телефон (диспетчер сообщила, что такси ждет у подъезда), они с удивлением заметили, что за окном огромными хлопьями лепит снег. Весь мир удивительно обновился.

– Русская зима, настоящая, пушистая... Я в Европе работал, там нет такой, даже если есть снег, – сказал Ильяс.

– Да, – согласился Илья Сергеевич.

– Вы мне забыли дать свой мобильный телефон.

– Ах да, – смущенно спохватился Илья Сергеевич, как будто и не собирался этого делать.

Он черкнул на блокнотном листе цифры, имя, и протянул его Иьясу.

– Если долго не буду отвечать, значит – в больнице, – пояснил он.

– Я все равно приеду и отдам долг. А они, – Ильяс неопределенно кивнул за окно, – отдадут мне. Я полгода не за «доширак» работал.

Когда Ильяс вышел из подъезда на улицу, он оглянулся, надеясь, что его новый старший поварищ смотрит в окно. Но за стеклом никого не было. Он глубоко вздохнул удивительно свежий воздух и посмотрел на небо, откуда падали вчерашние звезды. Мириады звезд. Ему нужно было сказать несколько слов небу, и он сказал, специально ломая русский язык акцентом:

– Папа, какой тебе большой рахмат за то, что ты заставлял меня учить русский. Какой рахмат, тебе, отец! Принимай гостя лучше, чем собственного отца... – пришла в голову пословица. – Нет, так не бывает, – он еще раз оглянулся на окна Ильи Сергеевича. – Пока есть разум, узнавай людей... – вспомнил он вслух еще одну древнюю пословицу, – и сел в такси, за рулем которого оказался его земляк.

– На ташкентский поропишься? – спросил таксист.

– Уважаешь язык, уважаешь народ, – ответил вдруг опцовской пословицей Ильяс, отчего земляк настороженно на него покосился,



но потом быстро перевел в понятное для себя русло: – У русской девочки Рождество праздновал?

Ильяс не стал ему отвечать. Спросил, сколько стоит такси до аэропорта. Земляк с широкой улыбкой назвал двойную цену... Как брату, сказал он.

* * *

В этот город Ильяс вернулся, как и говорил ему Илья Сергеевич, в апреле. Даже не потому, что так он посоветовал, а потому, что так сложилось. Почти четыре месяца он изо дня в день звонил своему старшему поварищу из далекой Сибири, но телефон был отключен. А потом позвонил тот самый прораб, извинился за грубость в рождественский вечер, сослался на то, что и сам тогда остался без зарплаты, но теперь обещал, что постепенно все выплатят, а бригаду надо собрать снова. Документы для договоров он уже готовит. «Ты же мастер, Ильяс», уважительно сказал прораб в конце разговора.

Когда Ильяс спустился по трапу на летное поле, он снова увидел снег. Снежинки летели огромными хлопьями, словно вырезанные из салфеток, и падали плашмя на голые бетонные плиты. Было промозгло и зябко, отчего казалось, что сейчас даже по сибирским меркам не апрель, а ноябрь. А дома уже опцвел урюк... По внешним признакам Ильяс заметил, что город уже успел оптаять после долгой зимы, но вот она вернулась снова, будто что-то забыла. «Как они здесь живут?», спросил он сам себя, одновременно задаваясь вопросом о том, что нужно пообещать Абдураимову Ильясу, дабы он согласился провести остаток своих дней в Сибири. Он согласился бы переехать сюда лишь по одной причине: если б здесь жила Чинара. «Чинара – восточный плапан, – вспомнил, как над именем его любимой задумался в ту ночь Илья Сергеевич, – Это дерево в Древнем Египте считалось воплощением богини неба Нут». «Красивая богиня?», спросил тогда Ильяс. «Как небо», улыбнулся Илья Сергеевич. «У нее золотистые волосы, немного вьются..., только глаза голубые», сообщил Ильяс. «Небо в золотой



оправе», пуп же нашелся писатель. Ильяс так и сказал Чинаре при встрече: ты мое небо в золотой оправе... Ей очень понравилось. «Ты не начал писать стихи?»

И теперь, вспоминая ночной разговор, Ильяс почувствовал, как в душе у него что-то дрогнуло, ему захотелось сделать что-то доброе и значимое для Ильи Сергеевича. Он подхватил сумку и ринулся на стоянку такси. Почти не удивился, что оказался в той же машине, что в январе везла его в аэропорт. Земляк не вспомнил его, потому повторно дал визитку с телефоном (если вдруг понадобится такси) и рассказал местные новости.

У подъезда Ильяс остановился, посмотрел в окна. Они показались ему серыми и безжизненными. Какое-то недоброе предчувствие скользнуло в душу. Потом он долго и настойчиво звонил в дверь, но никто не открывал. Уже собрался, было, уходить, как приоткрылась дверь напротив, и в проеме показалось настороженное лицо старушки.

– Чего шумишь? Видишь, нету там никого...

– Не вижу. Дверь ведь не открывают. А вы – Валентина Петровна, – догадался Ильяс.

– Откуда знаешь?

– Мне Илья Сергеевич про вас рассказывал, а гуся вы готовите замечательно.

– Гуся? Какого гуся? – подпрыгнули седые брови.

– Мы на Рождество с ним ели. Он в храм из-за меня не попал.

– В храм?

– Да, он помог мне очень. Мне надо ему долг отдать.

– В Рождество, говоришь, – прищурила старушка белесые глаза, стараясь внимательнее рассмотреть гостя. – Где он тебя нашел-то?

– На улице, в двух кварталах отсюда. Мы на небо смотрели. Вместе... А потом мы еще кровать двигали...

– Кровать! Ой, Господи! Сколько же он меня, дуру старую, просил... Небо хотел видеть. На небо, говоришь, смотрели... очень



это на него похоже. А во что он был одет?

– Темное такое длинное пальто. Шарф белый. И ботинки лаковые.

– Ух! – всплеснула отчего руками Валентина Петровна, а потом закрыла лицо ладонями и заплакала.

Ильяс теперь окончательно почувствовал беду и помрачнел. Он не решался ничего говорить, просто стоял и ждал.

– Пойдем-ка, – позвала старушка за собой в свою квартиру. – Как хоть тебя зовут-то?

– Ильяс. Я тезка Ильи Сергеевича.

– Заходи-ко, Ильяс. Заходи. На кухню пойдем, чай будешь?

– Зеленый, если можно.

– Я и сама зеленый уважаю. И Илья Сергеевич любил.

– Почему любил?

– Ты это... ты садись... садись...

По щекам Валентины Петровны теперь уже безостановочно текли слезы. Она и не пыталась их скрывать. Дрожащей рукой зажгла конфорку, поставила чайник. Села напротив.

– Ильяс, послушай, сосед мой умер в Рождественскую ночь.

– Когда я уехал? – испугался Ильяс.

– Тут не все просто... Тут чудо, понимаешь?

– Понимаю, он мне про это чудо всю ночь птвердил. Говорил, в рождественскую ночь должны быть чудеса.

– Господи!.. – снова всхлипнула Валентина Петровна. – Всем соседям я говорила, что он, как праведный Иов. Он ведь не ходячий был, понимаешь?

– Как не ходячий?

– Да так, еще после аварии в восьмидесятом! У него вся семья тогда погибла, а он выжил. Вот только неходячим остался.

– Это... на фотографии?.. Семья?..

– Значит, ты точно у него был, раз фотографию видел.

– Красивая белокурая женщина и два мальчика. И он – молодой еще.

– Оленька, Саша и Володя... Я их всех знала. Илья Сергеевич

потому детские книги и писал, что как бы для сыновей. Понимаешь?

– Понимаю, – у Ильяса в горле стоял комок. Такой большой и такой угловатый, что проглотить его было невозможно. Он проталкивал слова еле-еле, где-то по самому краю: – Но ведь он пришел туда сам... Мы видели, как упали две звезды...

– Да верю я тебе. Не поверила бы, никогда бы к себе непустила. Ты как про кровать сказал, сразу все поняла. Мы же упрям, когда пришли его проведать, с праздником поздравить, он и лежал на кровати. Долго гадали, кто же передвинул-то. Я-то боялась, что дует от окна. На пластиковые все денег не хватало. Рамы старые, деревянные, ветер гуляет, а ему простудиться – легко. Понимаешь?

– Понимаю.

– А он все просил. Видеть, говорит, хочу, Петровна, небо...А я дура старая!

– Он мне денег дал. На дорогу... На подарки...

– Это он, я знаю, – шептала сквозь слезы Валентина Петровна, – он и моему сыну на машину дал. Просто так. Похороните, говорит, только рядом с моими, землю я выкупил. А так, мол, зачем мне деньги. Понимаешь?

– Понимаю, – снова повторял Ильяс, но ничего не понимал, кроме одного – ему почему-то хотелось плакать вместе с этой старушкой.

– А пальто-то... Он тогда в нем и ехал. Гололед был. Из больницы его в этом пальто привезли... В ботинках этих лаковых. И он сказал мне: убери это все. Выброси. А я не выбросила! – Валентина Петровна засеменила к шкафу в прихожей и достала оппуда знакомое пальто: – Берегла! Нафталин, химчистка, гладила... Под полиэтиленом оно висело. Ты не мог этого знать. Понимаешь?

– Нет, – наконец-то сказал Ильяс и заплакал. Он достал из кармана пот самый конверт. – Вот, деньги. Я должен ему отдать. А это, – он достал из большой спортивной сумки огромный букет красных роз, – для его жены. А тут еще зелень, мумие привез, подарки... Я должен ему отдать! Я обещал! Если это был не он, то –



кто? Ангел что ли? Он мне все время говорил, повторял – у ангелов в рождественскую ночь много работы. Рассказывал, как ангелы пришли не к царям, а к простым пастухам, потому что у тех не было гордыни... Потому что это радость для всех, а не для сильных мира всего.

– А он и жил, как ангел, – Валентина Петровна вдруг успокоилась, только говорить стала тихо и смиренно, – удивительной доброты был человек. Ему с каждым днем делалось хуже, а он становился добрее. Другие так обзлятся – почему так со мной, за что? А Илья Сергеевич только добрее становился. Расспраивался лишь последнюю неделю: ребяташки дворовые колядовали, а он на коляске не всегда успевал двери открыть, чтобы конфет им дать... И книжек... Гусь-то правда понравился? – спросила она вдруг как о чем-то очень важном.

– Очень!

– А я переживала. В храме стою, думаю, как он там один...

– Вы мне могилу покажете. Надо цветы увезти. Я такси закажу.

– Да покажу, милый, покажу...

– Может, он в последнюю ночь встал?

– Врачи сказали, что еще до полуночи сердце остановилось. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в небо. И телевизор включенный был за спиной...

– Не, телевизор мы даже не включали. Разговаривали. Долго разговаривали.

– Видишь, не все совпадает...

– Все. Совпадает все. Потому что такого человека больше нет.

– Это точно, – печально согласилась Валентина Петровна. – А еще говорят – чудес не бывает. Он верил.

– Он сказал, что у него выбора нет. Только верить.

– И тебе сказал?

– Сказал... Он говорил, что любовь – это чудо. Что рождение детей – это чудо. Что моя девушка похожа на богиню неба... Поэтично так сказал. Ее Чинара зовут...

– Чинара? – встрепелулась старушка.

Валентина Петровна быстро встала и направилась в комнату, оттуда вернулась с книгой, которую открыла на первой странице, где от руки был автограф.

– Вот, а я тут гадала, кому это. Думала, дереву, что ли подписал?

– Я хотел попросить у него книгу на память... Постеснялся...

– Значит, это тебе, – улыбнулась она сквозь слезы. – В руках у него была.

«Чинаре и ее детям. Дотянуться до русского неба», прочитал Ильяс.



«За веру в силу материнской любви»

Олеся Булатовна Луконина

МАТЬ-КАЗАЧКА¹

Хупор заперялся в плавнях.

Плавни любого принимали и скрывали: и птицу, и зверя, и человека. Буро-жёлтые, в Яшкин рост, камыши шуршали под ветром, шелестели длинными узкими листьями с острыми краями.

Там могло водиться «казнащо», как объяснял, прищулив насмешливые глаза, Богдан. А Митя тихо, но упрямо его поправлял: «Так не говорят. Надо – непонятно што». Богдан хмуρο бурчал, заслышав это: «Дюже вумный», но уже не добавлял «жидёнок». За «жидёнка» он однажды схлопотал зуботычину от матери. Рука у Матрёны была тяжёлой, и разбитая губа сразу закровила. С тех пор Богдан никогда не говорил так.

Богдан был двумя годами старше Мити и Яшки, которым перед войной сравнялось одиннадцать. Матрёниным близнецам, Фёдье с Васькой, было восемь. Ну, а Горке с Ваняпкой – шесть. Малые совсем.

Яшка не знал, почему Матрёна не прогнала его, когда он, проплутав всю ночь в камышах, на рассвете набрёл на её одинокий хупор. Голодных ртов у неё и без Яшки хватало.

Она вышла во двор широкими шагами: высокая, крепкая, в тёмной юбке до земли и в тёмной же кофте со множеством маленьких пуговок спереди. Голова её была плотно, до бровей, повязана чёрным платком. Из-под этого платка блеснули ясные глаза, когда она посмотрела на замурзанного, оборванного Яшку, робко высунувшегося из-за плетня.

Вот так он впервые увидел Матрёну. А потом – Богдана: тот вышел на баз вслед за матерью, тоже высокий, крепко сбитый, глянул на понурившегося Яшку с угрюмой насмешкой:

¹ В основу рассказа лёг реальный случай времён Великой Отечественной войны



— Знову абы кого из плавней вынесло.

Матрѐна и бровью не повела, и словом не обмолвилась. Лишь кивком указала обомлевшему Яшке на крыльцо — заходи, мол. Краюху хлеба от каравая отрезала, вывернула половник ячменной каши в миску, поглядела, как он жадно ест, и только тогда спросила:

— Цыган?

Чуть не поперхнувшись, Яшка молча кивнул.

— Сирота? — глаза женщины были суровыми и усталыми, в сеточке мелких морщинок, выделявшихся на загорелой коже.

Яшка снова кивнул и опустил голову. Ему сразу расхотелось есть.

Осиротел он давно, с пяти лет жил у дядьки Иона и тёпки Лалы, которые его хоть и поколачивали иногда, но не гнали. Своих детей у них было прое, мелюзга мелюзгой, куда младше Яшки, поэтому топт и коней пас, дядьке помогая, и воду из ручья таскал без понуканий.

Он и тогда пошёл за водой и тем спасся — когда танки с крестами на броне перемололи их табор. Высунувшись из люков, весело хохочущие немцы палили без разбору в разбегавшихся с воплями людей. Яшка, немо осевший в праву рядом с брошенным бурдюком, не хотел видеть, но всё равно видел, как грохочущий гусеницами танк догнал кибипку дяди Иона, пытавшегося увезти прочь жену и детей. Под пронзительный детский визг кибипка превратилась в кровавое месиво из обломков досок, ошмётков пряпья и человеческой плоти. Коней, которые с тонким паническим ржанием устремились в степь, немцы, не перестававшие гоготать, переспределяли из автоматов.

Яшке было жалко и коней — так, словно они были люди. Они и кричали, как люди, умирая.

Эти крики и хохот немцев стояли у Яшки в ушах, когда он, пошатываясь, спотыкаясь и падая на четвереньки, брёл среди камышей.

Брёл, пока не вышел к Матрѐнинуму хутору.

...Нагрев воды в чугунке, Матрѐна велела Яшке залезть в жестяное корыто и беспощадно отдраила его жёсткой вехоткой с вонючим



мылом. Потом оспригла его чёрные кудды огромными овечьими ножницами. А под конец этих мучений намазала ему голову керосином – от вшей. Его лохмотья она сожгла в печке, а взамен дала ему рубаху и штаны, чиненные, но чистые – Богдановы, как понял Яшка, подпоясываясь бечевою и подвёртывая рукава.

Немного приглядевшись к обитателям хупора, Яшка сообразил, что Митя пуп тоже пришлый, как и он. Митя был городской. Хрупкий, будто хворостинка, подслеповатый, нескладный. У него всё из рук валилось, как ругался Богдан: «Чи руки, чи крюки». Но когда по вечерам Митя доставал свою скрипку, бережно завернутую в чистое рядно, и смычок, вставал посреди хаты и начинал играть, Яшка не мог удержаться от слёз или от смеха – так пела его скрипка.

А вообще Яшка и не плакал почти.

Однажды он едва не разревелся при Матрёне. Это было поздно вечером, когда уже стемнело. Он ходил до ветру и стоял у плетня, заглядевшись на острые звёзды, сиявшие в чёрной бездне неба. Матрёна шла мимо с кучей высохшего белья в руках и остановилась. Спросила негромко:

– Затужил, хлопче?

Яшка проглотил горький комок в горле и ничего не ответил, а Матрёна, протянув руку, легко коснулась жёсткими пальцами его сприженной макушки. И проговорила задумчиво, поже глянув вверх:

– Все покойники наши там. Дивлятся на нас. Ты не журысь.

Она произнесла это с такой убеждённостью, что Яшка враз ей поверил. Колкие огоньки звёзд расплылись у него перед глазами. Он еле-еле проморгался, длинно шмыгнул носом и вывернулся из-под Матрёниной руки.

– Спать иди, – коротко велела ему Матрёна и сама, легко ступая, пошла в хату.

Хоть Богдан и ворчал, что Яшка с Митей, мол, больше «гав» – ворон – ловяп, и проку от них по хозяйству шиш, «робыпъ» – работать – всем приходилось много, чтобы хоть что-то в рот положить. За домом был заботливо вскопан огород, а в плавнях



сооружена маленькая кошара для суягной овцы Марты. Неподалеку, в запруде, обитало несколько гусей и уток. Всё это хозяйство прилежно охраняли два злющих пса, Серко и Чабан, лохматые, похожие на волков и на Богдана своей угрюмой суровостью. Они защищали хату и кошару от одичавших собак.

Когда нахупор, заперевшийся в плавнях, прибыла зондеркоманда, псы встретили незваных гостей без единого брѣха, с рычанием кидаясь на солдат в болотно-зелёной форме... пока не запрещали выстрелы и земля не окрасилась кровью.

Солдапы приехали на грузовике, а офицер – на мотоцикле с коляской. Он не спеша слез с сиденья и выпрямился, брезгливо оглядывая чисто побеленную хату, стоявшую посреди двора Матрёну и жавшихся к ней Федьку, Ваську, Ваняпку и Горку. Богдан, Яшка и Митя застыли поодаль.

Из коляски немецкого мотоцикла резво выскочил плюгавый мужичонка с красной повязкой на рукаве, в центре которой чернел паук свастики. Содрав с лысеющей головы кепку и поклонившись офицеру, он боком, как пепух, подскочил к Матрёне и отпрыгнув произнёс:

– Показывай, которые из этих щенков – жиденята!

Яшка так и обмер. Он не смел глянуть на будто заледеневшего рядом Митю.

– Тут все мои диты, Степан, – спокойно проговорила Матрёна, и Яшка вздрогнул всем телом.

Он понимал, что немцы пришли за Митей и за ним, но точно так же понимал, что и он, и Митя похожи на кровных Матрёных детей – все они были одинаково смуглыми, прокалёнными солнцем, чернявыми и оспроносыми.

Офицер что-то властно скомандовал, и Степан, угодливо изогнувшись, перевёл:

– Метрики где?

– Все бумаги в сельсовете погорели. Бомба попала, – повела плечом Матрёна, в упор посмотрев на Степана. – Чому зазря



гавкаешь? При Радянской власти псом был и при фрицах остался.

На немцев она даже не глядела, только на Степана, и такое презрение сверкало в её ясных глазах, что Яшка и сам гордо вскинул голову. Хотя страшно ему было – не приведи Господь.

– Врёшь! – завопил Степан, отвечая Матрёне ненавидящим взглядом. – Говори, кто из них жиденята, не то заберём всех!

У Яшки подкосились ноги, когда немец в болотно-зелёном мундире уставился на него водянисто-блёклыми непроницаемыми глазами.

– Должен быть... ордунг. По-рья-док, – на ломаном русском, подчёркивая каждое слово, сказал офицер.

– Жидов и цыган быть не должно! – подхватил Степан. Выбросив вперёд длинную руку, он цепко ухватил ойкнувшего Митю за тонкую шею. – Ты жидёныш?

– Все диты мои! – гневно крикнула Матрёна, шагнув вперёд. – Побойся Бога, Степан!

– Врёшь, ведьма! – заорал топ, безжалостно пряся Митю, болтавшегося в его руках, как пряпичная кукла. – Герр офицер прикажет пристрелить любого из твоих пашенков, если ты не признаешься сама!

Богдан вдруг метнулся к Мите и вырвал его из рук плюгавого Степана, а Матрёна сбросила вдовий платок – чёрные, с лёгкой проседью, косы упали ей на плечи.

– Ховайтесь, диты! – во весь голос закричала она. – В плавни ховайтесь!

В руках у неё оказались вилы, блестящие острия которых с хрустом вонзились в грудь не успевшего попяпиться Степана. Хрипя и захлёбываясь хлынувшей изо рта алой пеной, топ покапился по земле.

Матрёна выдернула окровавленные вилы и повернулась к немцам. Глубокие глаза её пылали нестерпимо ярким огнём.

Офицер, отпрянув в сторону, судорожно рванул из кобуры пистолет. Но выстрелить он не успел. Солдаты, схватившись за автоматы, принялись поливать Матрёну свинцом, а та всё стояла,



вскинув вилы и полько дёргаясь всем телом от ударов пуль.

Её дети со всех ног бежали в камыши. Плача навзрыд, Яшка обернулся на бегу, чтобы увидеть, как Матрёна тяжело оседает наземь. Её чёрные косы, кофта и подол юбки намокли от крови, но глаза всё ещё были широко открыты.

Споткнувшись, Яшка упал на колени, но крепкая рука бежавшего следом Богдана вздёрнула его за шиворот вверх.

– Швыдче! – яростно прохрипел топ. По его щекам градом капилась слёзы.

...Все Матрёнины дети сбились в кучу среди шуршащих камышей. За ними никто не гнался, но от оставшегося позади хупора поднимался к небу столб чёрного удушливого дыма. Немцы подожгли хату.

Младшие тихо, сорванно скулили, прижимаясь друг к другу. Богдан больше не плакал. Он сидел, опустив черноволосую голову, и судорожно сплискивал кулаки на коленях. Митя с Яшкой глядели на него с невольным страхом. «Матрёну из-за нас убили, – обречённо подумал Яшка. – Передуют, как курят».

Но он не пронулся с места.

– Мамка за вас померла. – Глухо проговорил Богдан, будто отвечая Яшкиным мыслям, и вскинул глаза. Его худое скуластое лицо казалось совсем взрослым.

Сердце у Яшки болезненно дёрнулось. Но Богдан твёрдо закончил, подымаясь на ноги:

– Теперь вы братья мои. Зараз будем искать партизан. Як стемнеет, уйдём.

Плавни испокон веку любого принимали и скрывали. И птицу, и зверя, и человека. Жёлто-бурые, в Яшкин рост, камыши.

Яшка поднял голову. Звёздное небо смотрело на него Матрёнинными ясными глазами.



«За доброе сердце и милосердие к людям»

Михайлова Ирина Евгеньевна

АЛИСКЕР – ЗНАЧИТ «ЗНАЮЩИЙ»

Он сидит на лавочке на первом этаже слева от входной двери, около охранника. Рядом с ним рюкзак – попрётанный уже, запасканный, но тщательно выстиранный. На рюкзаке лежит пиджак. Он отглажен и сложен очень аккуратно, чтобы не помялся и не испачкался. Может быть, его купили специально для сегодняшнего дня.

Сидит молча. Ждёт. Руки на коленях. Смотрит куда-то в сторону. Белая рубашка, тоже идеально постиранная и отглаженная дома, уже помялась и испачкалась по дороге сюда. Кое-где выбилась из-под ремня тёмных джинсов. Он её не поправляет, только всё время приглаживает свои чёрные жёсткие, слегка блестящие, волосы.

– Это ко мне? – спрашиваю я у охранника, который всегда всё про всех знает, и никто никогда не может пройти мимо него незамеченным.

– К вам. С самого утра сидит. Елена Александровна просила, чтобы вы его посмотрели, – охранник говорит равнодушно.

– Но классы и так переполнены, – говорю я тихо, хотя слышать нас здесь, кроме того парня на лавочке, некому.

– Такой приказ, – пожимает плечами охранник, – вы уж сами решайте. Мне всё равно.

Я подхожу к турникетам, которые стоят преградой на входе. Лавочка, на которой сидит парень, сразу за ними, но он словно не замечает меня.

– Иди за мной, – говорю я громко.

Он тут же поворачивается ко мне, потом вскакивает со своего места, задевает руками рюкзак и роняет чистый пиджак на пол

– в лепнюю пыль и июньский пух. Неуверенно смотрит на меня, потом поднимает его, отряхивает и надевает. Затем быстро-быстро приглаживает непослушные чёрные волосы, которые всё равно торчат в разные стороны, и подходит к пурникетам.

– Пропустите, – кричу я охраннику. Топ нажимает кнопку, и заграждение легко переворачивается.

Парень, которому на вид лет одиннадцать, потому что он совсем маленького роста, очень худой и щуплый, наконец-то проходит в школу.

В школе в июне почти никого нет. Детей до сентября не заманить ничем, а многие учителя взяли отпуск до августа и разъехались. Иногда приходят старшеклассники, смотрят результаты своих экзаменов, расписываются за оценки в аппестате, который им выдадут в конце месяца. Больше – никого. Через две недели уйду и я, а школа останется стоять, никому не нужная, до самой осени.

Сейчас мне кажется, что кроме меня и этого молчаливого парня в школе нет абсолютно никого.

Мы с ним поднимаемся на четвёртый этаж в мой кабинет. Я веду русский язык и литературу, поэтому именно я должна посмотреть, сможет ли он учиться вместе со всеми. Если сможет – я, возможно, возьму его в свой класс. Если не сможет – то... Сейчас всё зависит только от него. Он это знает, и поэтому молчалив и сосредоточен, как перед важным экзаменом. Возможно, для него – это самый главный экзамен сейчас, даже важнее, чем выпускной. Ведь сейчас середина июня, а это значит, что наша школа далеко не первая, куда он приходил, и он уже обошёл весь район, и в каждой школе ему давали задание, но потом всё равно отправляли дальше. Я это понимаю, а также понимаю, что мне, скорее всего, придётся сделать то же самое.

Я этого не люблю. Каждый раз, когда я вижу, как на лавочке сидит и мнётся от страха и неизвестности очередной парень или девчонка, я начинаю ненавидеть законы, по которым живёт школа.

– Мы не можем брать всех, – говорит всегда завуч, молодая ещё



женщина, приземистая и полная. Она пришла к нам недавно, но уже дала понять, что хочет вывести нашу школу в рейтинг лучших.

Это означало – избавляться от плохих учеников и работать с хорошими. Для плохих учеников у нас была особая школа – номер двести тридцать два. Она находится недалеко – от нас идти пешком минут пятнадцать. Ученики в этой школе страшные, сложные и очень агрессивные. Все, кто не хочет или не может учиться, добровольно или нет, отправлялись туда. Толком там не учились. Задача этой школы, которую называли «отстойник», была другой – хоть как-то удерживать неспособных и беспокойных учеников отулицы, пока они не получат аттестат. Дальше их почти всех автоматически записывали в ближайший политехнический колледж, где они, по большей части, не учились, а отсиживали своё время до восемнадцати лет. Потом – армия, работа, жизнь.

Такова была система. Менять её никто не мог и не хотел. Всем было удобно, что есть место, куда можно скинуть непосильную и ненужную никому работу. Но также мы прекрасно понимали, что в этом месте ни у одного ученика нет возможности жить какой-то другой жизнью. Даже самые старательные, добрые и воспитанные через год превращались в таких, что, когда они, ругаясь, проходили мимо, мне хотелось перейти на другую сторону дороги.

– Это не школа, а какая-то колония, – сказала я однажды, – как мы можем отправлять туда детей?

– Ну а что вы предлагаете? Мы не можем учить всех. Спрадают другие, способные, дети, – пожимала плечами завуч.

Она тоже была права. Ориентироваться на всех в школе невозможно. Можно ориентироваться только на слабых, а можно только на сильных.

– Как тебя зовут? – спрашиваю я у темноволосого парня.

– Алискер, – бубнит он.

– Как? – я не расслышала и потому переспрашиваю.

– А-лис-кер, – повторяет он по слогам, – вы можете называть меня Саша.

– Почему же Саша? – я опять переспрашиваю.

– Ну, всем сложно. Никто не запоминает. Саша легче сказать.

Я прикидываю – Алискер – Александр – Саша. Действительно, имена похожи.

– Ну почему же. Я запомню. Алискер, – улыбаюсь.

Он чуть взглянул на меня из-под упавшей на глаза чёлки, потом быстро откинул её назад и опять пригладил волосы.

Отношение в нашей школе к приезжим было простое.

– Если можно не брать, то лучше не брать, – говорила завуч.

Для некоторых приезжих были особые школы. Была, например, армянская гимназия. Но гимназия эта была платной, да и взять всех труда просто не могли. Было несколько школ для изучения русского языка как иностранного. Но, опять же, их было всего несколько на всю огромную Россию. Поэтому, в основном, приезжие шли в обычные школы. Тогда начиналось что-то похожее на отбор. Если претендент всё-таки сдавал входное тестирование, писал хорошо диктант и учился на четвёрки, то его оставляли. Во всех остальных ситуациях его старались направить в другую школу, которая считалась хуже. Другая школа, в свою очередь, старалась отправить его в ещё более худшую... И так далее... Пока всё-таки где-то этот ненужный ученик не осядет. Обычно он оставался в неукомплектованной, самой необустроенной школе района. Чаще всего далеко от его дома. Для нашего района такой школой была двести тридцать вторая. Но ведь и она не резиновая. А недавно пронёсся слух, что эту школу собираются закрывать, поэтому они больше никого в этом году брать не будут.

Вот в такое-то непростое для нас время ко мне и пришёл этот Алискер, или по-русски Саша.

«Не вовремя ты пришёл», – думаю я про себя.

– Я тебе дам диктант, – говорю вслух, – диктант лёгкий. Надо посмотреть, как ты пишешь, чтобы понять, в какой класс тебя направить.

Алискер кивает. Он слышит это не в первый раз. Все так



говорят. Надо же что-то сказать. Он уже знает, что ни в какой класс его не направят, а отправят дальше. Куда – никто не знал.

– Где ты раньше учился? – спрашиваю.

– В разных школах. Сначала в Марьино. Мы там жили. Потом переехали сюда.

– И сколько у тебя школ было?

– Три. Я с пятого класса тут.

– Сейчас ты в восьмой поступаешь?

Он кивает. Значит, везде он учился по одному году.

В июне в школе жарко. Шторы с окон уже сняты и взяты на стирку, и раскаленное солнце большим жёлтым шаром смотрит прямо на нас. Алискер – Саша щурится и выпирает о джинсы вспотевшие руки.

– Сними пиджак, – говорю я, – у нас тепло.

Он мотает головой. Мама перед работой собирала его и говорила:

– Веди себя хорошо. Не спорь, не перечь, не груби. Побольше молчи. Рубашку не расстёгивай, пиджак не снимай. Ботики надень, а не свои кроссовки. Пиши аккуратно. Волосы ещё пригладь.

– Ладно, – бурчал ей в ответ Алискер.

Вся его сегодняшняя одежда: пиджак, белая рубашка – упрям висела на вешалке. Мама накануне её стирала, тщательно гладила, аккуратно развешивала, точно именно от этого зависело – примут его в школу или нет. Он тоже так думал, но после четвёртой школы он пришёл домой, бросил пиджак на пол и сказал:

– Не пойду больше.

– Ты что? – мама подняла пиджак, – где я тебе другой возьму? Что ты делаешь?

– Всё равно, – ответил он и сел на табуретку в коридоре, – я лучше работать пойду. Отцу помогать или тебе.

– Ещё есть школы, – сказала мать, отнесла пиджак в ванну, положила в таз – стирать, – в другие районы пойдём.

– Я не хочу в другие районы. Я ни в какие не хочу.

– Нельзя здесь так, – мать вернулась и обняла сына, – ты должен



выучиться.

Алискер упрямо отвернулся.

– Потерпи, – сказала мама, – мы все терпим. Я, отец пвой. Так надо.

Алискер посмотрел на маму. Длинные тяжёлые, когда-то чёрные, волосы были уже почти все седые. Не такой он её помнил. Там, в Шаглакуджи, она была красивая – в длинном платье, с заплетёнными в косу волосами и блестящими украшениями.

По выходным они ходили по селу всегда впроем, с отцом, заходили в гости ко всем своим родственникам – их было почти всё село. Затем ехали на старой машине дяди Бугдая в центр – на базар, что всегда раскидывался в субботу и в воскресенье.

На базаре отец долго со всеми разговаривал, пока мать выбирала фрукты, тщательно осматривая каждый, взвешивая на ладони, которой доверяла гораздо лучше, чем весам. Алискер смотрел на самые разные формы и цвета – абрикосы, персики, сливы, мандарины. Всё это мама выбирала сама, откладывала в сторону, чтобы потом отец посмотрел и одобрил. Но больше всего маленький Алискер любил, когда доходила очередь до лимонов. Соседний город – Ленкорань – славился своими лимонами. Каких только не было! И большие сладкие, такие, что можно было очистить шкурку и есть, словно яблоко, что хозяин этих лимонов охотно делал, показывая, что он ест их и не морщится. И маленькие, с такой тонкой кожей, что она легко прескалась от слабого нажатия. Маленькие были такие кислющие, что годились только для приправы, но Алискер любил нарезать тонко такой лимон, посыпать сахаром и класть на язык. Сладкий сахар быстро таял, а во рту оставался кислый вкус молодого едкого лимона.

Потом переходили к арбузам. Арбузы выбирал всегда только отец. И это тоже был целый ритуал. Сначала он долго о чём-то говорил с хозяином, вспоминал общих знакомых и родственников. Потом хозяин приглашал одного отца за прилавок, где всегда были припрятаны самые лучшие арбузы, там отец доставал и поднимал



вверх по один, по другой, долго по ним спучал, переворачивал с бока на бок, прикладывал к уху и долго что-то слушал. Алискер стоял, застав дыхание, и смотрел на сильного отца, который может так легко поднять десятикилограммовый арбуз. Наконец, отец, улыбаясь в усы, пожимал в знак дружелюбия и сделки руку хозяину и забирал понравившийся арбуз.

А дальше было самое вкусное – орехи и пряности. Прямо посреди села, где обычно гуляли чьи-то бесполовые куры, и по и дело забредали прямо с длинными верёвками на шеях отвязавшиеся каким-то чудом козы, раскидывались шапры, из которых бил такой запах, что жаркое длинное лето вмиг казалось ещё более жарким, как если бы по пустыне, и без того изнурённой зноем, прошёл огненный сирокко, закружив в своём вихре раскалённый песок.

Из каждой наспех и всего на несколько часов сооружённой палатки летели ароматы гвоздики, кардамона, корицы, шафрана, сумаха, азгил-шараба, муската, фенхеля, кумина... Алискер мог бы стоять часами и вдыхать одновременно все эти запахи, раздражая глаза, чихая... Но мама звала его дальше – к орехам. Здесь Алискер обязательно пробовал всё, начиная от грецких орехов, от которых у него вязало рот и язык, заканчивая фундуком, который был похож по вкусу на кофейные зёрна. Хозяйка этих орехов с радостью старались накормить Алискера, чтобы он указал маме, кто ему дал больше. Именно у того мама и купит столько орехов, сколько уместится в пакет.

Напробовавшись, Алискер переходил к солёным шарикам сыра. Это очень твёрдые маленькие кругляшки, густо покрытые солью, которые невозможно разгрызть, поэтому мужики их капали во рту, пока не размочат, и только потом жевали. Делали их из солёного сыра, скатывая его в маленькие круглые шарики, обсыпая сверху солью и, добавок, поливая солёным рассолом. Такие шарики застывали и теперь лежали белой горкой после всех орехов и немного вдали от них, словно чувствуя свою уникальность. Ведь их ели только мужчины! Женщины не любили, а детям не давали. Но

Алискер всегда выпрашивал один такой шарик и долго потом капал его во рту, мечтая о том, что вырастет и будет есть их столько, сколько захочет.

Так заканчивался воскресный базарный короткий день в Шаглауджи. Уже к прём часам лавочки закроются, рынок свернётся, машины с арбузами и дынями разъедутся.

Дома мама всё намоет, нарежет, поставит на стол. Но есть Алискеру уже не захочется. Фрукты и орехи, даже нарядный арбуз, без весёлого рынка выглядят грустно и одиноко. И Алискер, всё перекапывая во рту солёный шарик, пойдёт до вечера сидеть во дворе.

Сейчас мама совсем не такая. Она усталая, сгорбленная, в халате, волосы просто убраны в большой платок. Алискеру жалко её. Это ради неё он ходит во все эти школы. И пойдёт ещё, раз так надо.

Я сажусь за свой учительский стол. Он на первую парту.

– Листочек у тебя есть? – спрашиваю.

– Нет, – сказал чётко и отрывисто.

Достаю из ящика стола ему листочек и ручку.

– Подписывай здесь. Пиши имя и фамилию, – показываю, где нужно написать.

Пишет: «Мирзоев Алискер».

– Молодец, – подбадриваю, – теперь число.

Пишет аккуратно. Ручку держит крепко, точно боится потерять. Интересно, он хочет сюда попасть или просто надоело писать каждый раз одно и то же?

Алискер не хотел ехать. В Шаглауджи у него было всё – большой дом, своя комната, школа, футбол. Он жил у самого стадиона – маленького, размером с их двор. Играть там можно было одновременно только половиной команды – то есть по шесть человек с каждой стороны. Но Алискеру всё равно нравилось. Он был защитником, и почти никогда не пропускал мяч к своим воротам. Несколько раз он даже забивал, и тогда его хлопали по плечам и хвалили. Отец смотрел не одобрительно.



– Футбол для улицы, – говорил он, – а ты мой сын. У тебя дом есть и мать.

Алискер соглашался, но всё равно убегал играть.

Здесь никакого футбола не было.

Первый уехал отец. Первый в их семье, но последний в селе. Уехал только, когда опустело почти всё село. Опустило так, что даже воскресный базар перестал приезжать – не выгодно было проработать время. Напрасно Алискер ждал привычного запаха специй, вкуса запретного солёного сыра. Всё это проезжало мимо, в другие, ещё не опустевшие сёла.

– Не уезжай. Продержимся, – говорила мать.

Но отец никого не слушал. Он только показывал жене пустые дома, оставленные его друзьями и родственниками.

– Ты видишь, нет никого. Как тут жить теперь?

– Они вернуться.

Отец махал рукой:

– Откуда? Из России? Э!

– Да и что ты там будешь делать? А мы здесь?

Отец молчал. Все понимали, если он решил – не отступится. Тем более о Москве стали говорить уже давно.

Алискер с самого детства слышал – «Москва, Москва». Кто-то приезжал откуда, уезжал, привозил деньги. Всем казалось – большие деньги. Огромные для Шаглакуджи. По 10-20 тысяч манат. За эти деньги можно сыграть свадьбу, купить барана, сделать ремонт или отдать детей учиться. Сахраб, отец Алискера, видел это. Таких денег ни в Шагракуджи, ни в Ленкорани рядом, ни даже в Баку ему не заработать.

Сахраб работал учителем в сельскохозяйственном колледже. Он когда-то был лучшим агрономом, заработал научную степень, получил награды и грамоты за отличную работу. Потом занялся преподаванием. Но таких денег, какие привозили из Москвы, Сахраб не видел никогда. Его зарплата была 180 манат, а из Москвы своим семьям присылали по тысяче манат каждый месяц. Очень скоро



из села уехали почти все мужчины. За ними – женщины с детьми. Семья Сахраба осталась одна из последних.

Отца провожали всем небольшим селом. Он уезжал с одной сумкой, в которой был в больших количествах чурек на куркуме, который мог храниться долго, всевозможные булочки и пирожки, какие напекла мама, особенно шор-тогалы, какие отец любил больше всего, фрукты, овощи, орехи и головки сыра. Всё это было завернуто и спрятано на дно сумки. Сверху – куртка и тёплые вещи.

– Пока на три месяца, – говорил отец, – устроюсь там, посмотрю.

Он взял с собой свои дипломы, награды, грамоты и даже аптестат, в котором – Алискер тайком заглянул – были один пятёрки. В отличие от Алискера, отец всегда учился на отлично и не гонял мяч. Всё это вместе с паспортами и деньгами было спрятано также хорошо, как и хлеб. Отец уехал.

Алискер ждал его месяц, два, три. Отец не приезжал. Четыре, пять, шесть. Через восемь месяцев отец вернулся всё с той же сумкой. Она была почти пустая. Сам отец был страшный и похудевший. Но с собой у него было семь тысяч манат. На эти деньги, положенные пачками на кровать, Алискер смотрел в замочную скважину и не верил своим глазам. Половину этих денег потратили на ремонт дома, который уже постепенно оседал и заваливался набок. Остальную половину отец положил на счёт в банк. Тогда что-то вдруг кольнуло у Алискера где-то внутри. Отец не вернулся на самом деле. Он теперь будет там всегда – в далёкой Москве.

Я начинаю диктовать.

– Вечерняя заря догорала. Начинал расстилаться туман. – Жду. Повторяю ещё раз. – Вечерняя. Заря. Догорала. Написал? Начинал. Расстилаться. Туман.

Пишет медленно. Аккуратно. Выводит каждую букву. Почерк хороший. Лучше, чем у многих. Стараётся. Дописал – смотрит на меня.

– Я решил вернуться домой. Я. Решил. Вернуться. Домой.



– Почему мы не можем вернуться? – спросил Алискер однажды у мамы. – Мне здесь не нравится.

– Ты привыкнешь, – ответила мама и погладила его по голове.

Он резким движением сбросил её руку.

– Не привыкну.

Она смотрела на него – он совсем вырос. Спал похож на отца – такой же упрямый, резкий. Если что-то засядет в голове, какая-то мысль или желание – ничем не успокоить, пока не добьётся своего. Но она любила сына так же, как любила мужа. Всю жизнь.

– Ты что? – говорили сёстры, опговаривая выходить за Сахраба, – он же тебя приберёт. Горячий, под руку попадёшь – не отпашат.

Но родители дали согласие, и она пошла. Тайком, ещё до свадьбы, она смотрела на него и любовалась. Сахраб – значит «сияющий», и он для неё был единственным, блистающим и любимым. До свадьбы – и уже любимым. А он смотрел на неё сверху вниз задумчиво, будто оценивал. На свадьбе даже за руку ни разу пайком не взял. Сидел неприступно, почто это он, а не она уходила навсегда в чужой дом и входила в чужую жизнь. И только после, когда уже жили, когда родился Алискер, сказал:

– Полюбил тебя не сразу. Отец сказал – хорошая девушка, дочь друга, бери её и не думай. Но я всё думал. А сейчас понял – полюбил тебя так же, как сына. Как сын ты мне дорога стала.

Может, поэтому и забрал их с собой, когда Алискер подрос и пошёл в пятый класс. А может, потому что село совсем опустело, работы не стало. Колледж, где преподавал Сахраб, закрылся окончательно, немногие ученики, какие там ещё оставались и какие несмотря ни на что собирались стать агрономами и не хотели ехать ни в Ленкорань, ни в Баку, всё-таки уехали. В школе, где учился Алискер, остался только один класс, куда теперь ходили все ученики, не зависимо от возраста. Ферма, где работало раньше всё село, тоже закрылась. Держались только больница и почта. Но и там, и там зарплату почти не платили. Только иногда, раз в два или три месяца, выплатят 100-200 манат, и опять на два-три

месяца неизвестность.

Дожидали только свою тихую жизнь бабушка да дедушка Алискера. Даже дяди и тёпи разъехались.

– Ну, какое здесь будущее? – говорил Сахраб жене. – Сын вырастет. Жениться надо, учиться надо. Где? Всё дорого, за всё платить. Да и дом купить нужно. Отцу старому помочь, матери первой. Всё денег стоить. Здесь их никогда не заработаешь.

Жена знала – Сахраб прав. Даже в Баку зарплата не поднималась выше трёхсот манат. А сейчас всё стало платным. В колледж сыну поступить – надо заплатить, да ещё сверху дать. В больницу пойти – тоже платить. На работу устроиться – тоже надо денег. Всё за деньги. Манаты, манаты... Которых вечно не хватает. Вот и ходят все по кругу, а потом всё равно уезжают.

Жена понимала, а Алискер нет. Ему нравилось его село. Нравилась школа, в которой теперь стало так тихо и спокойно. Он не хотел ни жениться, ни работать, ни поступать в колледж. Он не думал, что заболеет. Он только хотел, чтобы отец остался и жил с ними. Он не хотел ехать в чужую страну, о которой ничего не знал, и в чужой город, с таким страшным шумным названием. Москва...

Русский язык Алискер знал наравне с азербайджанским, как и все в селе. Даже в школе преподавали русский. Конечно, многие слова забывались, многие коверкались и звучали так смешно и странно, да и азербайджанский был проще и привычнее. Но на русском говорили. В селе даже были целые дома, где жили русские, и из-за уважения к ним с ними и в их присутствии говорили по-русски. Только иногда в разговоре проскользнёт азербайджанское слово, но тогда уже русская семья подхватывала это слово и говорила по-азербайджански. Поэтому русских Алискер не боялся. Он видел и знал, что они живут по-своему правильно и хорошо. Они ходили вместе со всеми на базар, мужчина в их семье также долго выбирал арбуз, легко подхватывал его на руку. Женщина также пробовала все фрукты, прежде чем дать своему мужу на одобрение. Дети также перепробовали все орехи, обтирая их от пыли футболками.



А парни вместе с Алискером пайком перекапывали во рту сыр. Но что-то всё равно было в них, в этих семьях, такого, что заставляло Алискера всмаприваться в них настороженно.

– Почему они живут здесь, с нами? – спросил он как-то у отца, когда они сидели вместе на крыльце.

Отец задумался, потом взял палку и начертил круг.

– Раньше мы все вместе жили, вот в этом круге, – сказал он, – они у нас тут жили. Мы – у них. Наши страны одной были, понимаешь? Потом мы разделились. – Он провёл через круг большую черту, – и мы отдельно спали. Они – отдельно. Но всё равно люди-то жили семьями много лет здесь. Они так и остались. Не захотели уезжать.

– А кто-то уехал?

– Многие уехали. И наши многие откуда вернулись. Но не все.

Отец задумался и продолжал чертить палкой круги.

– Ведь как бывает. – Заговорил отец. – Если в селе староста говорит – «живите, мол, не ругайтесь», то все живут мирно. Как у нас. А если говорит – «пусть уезжают», то им приходится уезжать. Так что здесь многое зависит от уважаемых людей. Наш староста умный человек, он понимает, что на ругани хорошего не построишь.

Алискер молчал. Смотрел на круг, разделённый чертой, и молчал. Одна половинка – Шаглакуджа, вторая половинка – Москва. Вот и всё. А что за черта между ними?

Он на меня почти не смотрит. Глаза опустил в пол. Боится или стесняется – как знать. Вдруг ручка перестала писать. Он затряс её. Заволновался. Руки вспотели, пальцы не слушаются. Я даю ему другую. Листок – влажный от его рук. Чернила расплываются. Он зачёркивает. Пишет заново.

– Не волнуйся, – говорю я, – ничего страшного.

Рука сжимает мою ручку. Разозлился. Он и не волнуется. Нельзя так про него думать. Он сильный. Он мужчина. Он ничего не боится. Он тут один – без мамы. Ему всё равно. Он знает, что не будет здесь учиться, что его не возьмут, да он и не хочет. Ему здесь

не нравится. Он поедет домой один. Ему никто не нужен.

Алискер с мамой уехали, когда топ окончил начальную школу. В пятый класс он уже должен бы пойти здесь – в Москве. Его взяли. Долго думали, но в сентябре всё-таки взяли. В основном, потому что он был тихий, спокойный, сидел на уроках смирно, никогда не спорил. А до девятого класса и до экзаменов ещё далеко.

– Переедут ещё десять раз и сами уйдут, – махнула рукой завуч.

Алискер почти не разговаривал. Он стеснялся своего акцента, который был замечен на фоне всего класса. Из Азербайджана больше никого не было. Были из Узбекистана, Армении и Чечни. Армяне держались особняком, ходили всегда вместе, учились хорошо и хорошо говорили и понимали по-русски. Узбеки – их было двое, парень и девочка, – ходили по одиночке, вообще ни с кем не общались, и даже Алискера не принимали «за своего». Учились они плохо, хотя по-русски говорили почти без акцента. Только парень из Чечни – Хабиб – в первый же день подошёл к Алискеру.

– Ты с какого города? – спросил он.

– С Шаглакуджи, – ответил Алискер.

– Я такого не знаю.

– Это в Азербайджане. Около Ленкорани.

– А! Я думал, ты тоже с Чечни.

С того первого дня они стали общаться и ходить всегда вместе. Они словно бы понимали, что надо держаться друг друга, что они здесь особенные. Они были даже удивительно похожи – невысокие, с чёрными волосами, тёмными глазами. Оба ходили всегда в белых рубашках. Учителя их даже пугали. Вызывали Хабиба – а оценку ставили Алискеру. И наоборот.

Хабиб по-русски говорил с акцентом, но очень хорошо. Он рассказывал, что в их школе русский был часто, и даже некоторые предметы велись на русском, поэтому все у них русский знают.

– Я в Гудермесе родился, – рассказывал он, – потом переехали в Грозный. Очень большой город! Красивый. Я не хотел уезжать. Может быть, мы скоро вернёмся туда. Мама говорит, я школу там



буду оканчивать. Здесь экзамены сложные.

Алискер тоже о себе рассказывал. Про село рассказал, про отца и маму. Про футбол. Стали с Хабибом ходить играть. Вдвоём в футбол не поиграешь, но мяч гоняли.

За пятый класс у Алискера вышли одни пройки. Он тогда пришёл домой, бросил портфель и сказал, что больше не пойдёт в школу. У него никогда раньше не было проек.

Мама сидела задумчивая и как будто не слушала сына.

– Мама, – он дотронулся до неё.

Она вздрогнула. Он никогда не видел, чтобы она так вздрагивала.

– Что с тобой? – спросил Алискер.

– Отца уволили, – ответила мама и отвернулась.

Сахраб сначала работал на складе грузчиком. Но всё чаще стали приходиться проверки – и всех, кто работал не по трудовой, стали увольнять. За Сахраба держались до последнего. Он был исполнительный, никогда не спорил, не опаздывал, не пил и не курил. Когда приходила проверка, начальник склада лично пряпал Сахраба у себя в подсобке. Сахраб сидел там, пока проверка не уходила. Но долго так было нельзя.

– Я пойду работать, – сказал Алискер, когда отец вернулся домой раньше обычного.

Но работать пошла мама. В Шаглауджи она была профессиональной швеей. Шила на всё село. Она и Алискеру, и Сахрабу, и себе шила одежду, которая потом не снашивалась много лет. Стала в Москве обходить ателье. Но в ателье её не брали.

– У нас обязательна прописка, – говорили они. – Не положено. Проверок много. Оформляйте документы – вид на жительство, разрешение на работу...

Ничего этого пока у мамы не было. И она пошла уборщицей. Рядом с их домом, где они снимали квартиру, выстроился огромный торговый центр. Туда мама Алискера и пошла работать.

В шестой класс Алискер пошёл в новую школу. Она была намного хуже предыдущей. Почти никто там не учился хорошо. Алискер,



сам не замечая как, стал получать двойки и прогуливать занятия.

– Я узнал дорогу, – продолжаю я, – и предполагал...

Остановился. Не пишет. Слово сложное, незнакомое. Читаю ещё раз его по слогам.

– Пред-по-ла-гал. Написал?

Едва заметно кивает.

Новую работу Сахраб нашёл быстро. Устроился на маленькую фабрику по производству маптрацев. Целый день, с восьми утра до восьми вечера, он стоял на ногах и обшивал по периметру уже готовые маптрацы. Маптрац за маптрацем. Когда заканчивал один, ему давали следующий. Был положен один час на обед и три перерыва по пятнадцать минут для тех, кто курил. Сахраб не курил, но положенные пятнадцать минут прятал на то, чтобы полежать в подсобке на этих же самых маптрацах. Он ложился, выпягивал ноги, которые распухали и гудели от того, что он стоял по двенадцать часов в день, закрывал глаза и просто лежал. Через пятнадцать минут он вставал. Встать было очень сложно. Тело, расслабившееся от тепла подсобки и быстрого сна, не могло сразу собраться. Но он вставал и шёл опять стоять и обшивать маптрацы до самого вечера.

Иногда, когда он ехал с другого конца Москвы к себе на съёмную квартиру, он не мог поверить, что он – агроном, преподаватель, имеющий столько наград и премий, должен целый день обшивать маптрацы. Но выхода не было – ни о каком преподавании здесь не могло быть и речи. А его награды никто даже и не смотрел. Иногда он сам заглядывал в свой красный аттестат, закрывал его, прятал в документы.

В конце шестого класса в школу вызвали маму.

– Алискер не сможет учиться в обычной школе, – сказали ей, – он говорит по-русски, но понимает далеко не всё. Учителя не могут объяснять ему отдельно то, что остальные схватывают быстро.

– Что же нам делать? – спрашивала мама.

– Вам лучше перейти в специальную школу. Где русский преподают



как иностранный язык.

– Мы уже узнавали. Там так дорого и всё занято.

Учителя разводили руками.

– Тогда только частные школы.

– Но это сколько денег надо!

В седьмой класс Алискер опять пошёл в новую школу. Школа была ещё хуже, и учились там те, кого выгнали из обычных школ. Там он начал курить.

Когда об этом узнал отец, он взглянул на сына так, что Алискер задрожал от одного его взгляда.

– Посмотри на мать, – сказал он сыну, – она моет полы, чтобы ты ходил в школу. Если ты не хочешь – мой полы сам.

Алискер молчал. Он хотел сказать, что готов мыть полы хоть целый день, лишь бы уехать отсюда. Но он молчал. Он всегда знал, что, если отец сказал, значит, это правильно. Он достал сигареты, которые купил на сэкономленные карманные деньги, и отдал отцу.

– Ты потратил мои деньги, – сказал отец.

Алискер молчал.

– Предполагал, – повторяю я, – что скоро буду дома.

Написал. Отложил ручку. Дом...

Дома сейчас очень жарко. Особенно жарко в Ленкорани, куда Алискер с бабушкой приезжал к дядям отдыхать на лето. Морской воздух там низко висит над городом, окутывая дома и дороги во влажный прозрачный туман. В этом тумане Алискер любил гулять всё утро, пока солнце ещё не поднялось над крышами и не иссушило их. Потом он забегал в море с разбега, оставляя за собой брызги и соль.

– Что ты всё бегаешь, как глупый баран? – ругалась бабушка. – Занялся бы делом!

Алискер опускал глаза и ждал, когда гроза пройдёт. Она проходила быстро, и бабушка снова баловала его и отпускала бегать.

Алискер много работал дома, когда возвращался с каникул. Он делал то, что мог делать каждый парень – чесал овец, стриг шерсть



молодняку, рождённому в январе, возил сено для вечно мычащей коровы, чистил недовольного быка, пока топт смирно стоял в стойле и отмахивался хвостом от мух и слепней.

А сделав всё это – опять убегал, и уже не возвращался до самого вечера.

Это было легко там – далеко отсюда. Здесь же – пыль, которую дождь прибывает к земле, диктант и школы, которые мелькают перед глазами.

Я читаю ему текст заново. Он проверяет – водит пальцем по листочку, что-то тихо шепчет себе под нос. Потом отдаёт листочек и ручку мне. Теперь уже проверяю я. Почти каждое слово я исправляю красным. Красного у него уже больше, чем синего.

– У тебя очень много ошибок, – говорю я ему.

Он молчит.

– Что у тебя по русскому было?

– Три.

– Почему ты переходишь в другую школу?

– Там сказали, что нужно искать новую.

– Но они, наверное, сказали, что нужно искать школу попроще?

А у нас тоже сложно учиться.

Молчит. Зазвонил телефон. Он достаёт его из кармана джинсов, нажимает кнопку и говорит по-азербайджански. Я не понимаю, что он говорит.

– Там мама внизу, – говорит уже мне.

– Скажи, пусть поднимается ко мне. Охранник проводит.

Опять говорит в трубку по-азербайджански.

Айдан, мама Алискера, входит робко и тихо. За три года здесь она уже научилась быть незаметной там, куда приходит, молчать, слушать и соглашаться. Она садится рядом с сыном на первую парту.

– Он не сможет здесь учиться, – говорю я, – посмотрите, сколько у него ошибок.

Она берёт его листок так, словно это она виновата во всём.



Кивает и вздыхает.

– Нам бы экзамены сдать, – говорит с акцентом по-русски.

– До экзаменов ещё надо дотянуть, – отвечаю я, – и экзамены сложные. Вам лучше пойти в другую школу.

Сколько они уже это слышали!

– Нас оповсюду гоняют, – сказала вдруг Айдан. Сказала смело, подняла на меня глаза. – Куда нам идти? Ему же надо учиться!

– Мама, пойдём, – Алискер встал, – пойдём.

– Подожди, сын, садись.

Но он продолжает стоять.

– Я могу вам посоветовать школу. Она рядом тут. Они не набирают никого, но мы позвоним и попросим. Школа простая, как раз для...

Айдан встаёт.

– Для кого? Вы знаете, какой он умный? У его отца ни одной четвёрки не было. Он сам преподавал на Родине. И Алискер всю начальную школу хорошистом был. У него и грамоты есть. Это здесь ему сложно. С языком сложно. А по математике хвалили.

– Пойдём, мама, – опять вмешивается Алискер.

Я пишу им на его же листочке телефон и адрес той школы. Пишу и понимаю, что, если он пойдёт туда, пропадёт окончательно. В этой школе он учиться не будет, не сможет. Там никто не учится. Ещё думаю, что я сама за пять лет работы здесь ещё никого туда не отправляла. Он первый.

– Спасибо, – она берёт листочек своего сына.

Тихонько закрывают за собой дверь.

Я звоню завучу.

– Приходили на собеседование, – говорю в трубку.

– И как?

– Зовут Алискер.

– Ясно, – отвечает она после молчания.

– Рекомендовала им двести двадцать вторую.

– Они не возьмут. Сами скоро закроются.

– Что же делать? К нам взять?

– А какие перспективы?

– Ну, рейтинг он нам точно не поднимет.

– Тогда сами понимаете. Нам чужие проблемы не нужны. Будем ссылаться на переполненные классы. Тем более, это так.

Кладу трубку. Представляю, как они вдвоём спускаются по лестнице, проходят мимо охранника, кивают ему, чтобы открыл. Идут дальше. Но куда? А этот молчаливый Алискер? Что с ним будет?

Они и телефона не оставили – позвонить, узнать, как устроились.

Бегу вниз. Уже, наверное, ушли.

Они на первом этаже. Айдан сидит на корточках и поправляет сыну рубашку и пиджак, в котором он так и просидел всё время.

– Саша, – кричу я ему, но он не оборачивается, как будто не слышит. – Алискер! – выговариваю я с трудом.

Оборачивается. Смотрит из-под жёсткой чёлки. Глаза чёрные, блестят.

– Знаете, – подхожу я и говорю его маме, – не ходите больше никуда. Давайте я с ним позанимаюсь русским. У меня до отпуска две недели. И в августе ещё неделя будет. Посмотрим, что можно сделать. До экзаменов далеко. Может, выпянет.

Айдан улыбается. Кажется, готова меня обнять, как родную.

– Спасибо. Мы отблагодарим. Он хороший. Он будет вас слушаться. Будет себя хорошо вести. Он же отличник был. Русский знает. Алискер по-нашему значит «знающий». А мы, – она говорит уже тише, – вам с Родины такие лимоны привезём! Сладкие! В Баку такие не найдёте, как у нас. И абрикосы, и орехи.

– Не надо ничего! Что вы! – я машу рукой, – пойдём? – говорю я Алискеру.

Он смотрит на маму. Та кивает, и он покорно идёт за мной.

Здесь всё не так плохо – хочу сказать я – ты привыкнешь. Здесь у нас и Айсана, и Абдула, и Сабина – все учатся. Все привыкли.



Но мы молчим. Он идёт за мной обратно в мой кабинет. Писать, читать, учить. Чтобы потом, в сентябре, его взяли в мой класс.

Он чуть обернулся – мама уже ушла. А он идёт дальше. Дальше и дальше. Как когда-то всё дальше и дальше от села уезжал автобус, а Алискер смотрел в окно, и сердце больно билось при мысли о большом незнакомом городе, в котором он будет учиться, работать, и, может быть, жить.

Для заметок

Для заметок

Литературно-художественное издание

ПЕСНЬ СЛОВУ

сборник работ победителей и участников
Международного литературного конкурса малой прозы
«ЭтноПеро»

Составители: Е.Н. Пономарева, Ф.Р. Автух
Верстка и оформление: О.В. Кузнецова

Подписано в печать 17.10.2018. Усл.-печ. л. 9,7 п.л.;
Формат 60x84 1/16. Тираж 200 экз.

Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина 28
Тел.: (343) 243-17-05, 240-44-55

Отпечатано в типографии
ООО «Издательство УМЦ УПИ»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Тел.: (343) 362-91-16, 362-91-17